

ИЛ

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Те, кто уходит из Омеласа

Научно-фантастические
рассказы
американских
писателей





Ursula K. Le Guin
Jerome Bixby
Alfred Bester
Ray Bradbury
Murray Leinster
Cyril M. Kornbluth
Isaac Asimov
Poul Anderson
James Blish
Alfred E. Van Vogt
Gordon R. Dickson
Robert Sheckley
Cordwainer Smith

Те, кто уходит из Омеласа

Научно-фантастические рассказы
американских писателей

Перевод с английского

Составление Ростислава Рыбкина

Предисловие Е. Вансловой

Москва
«Известия»
1990

И (Амер)
Т11

Ответственный редактор Библиотеки «ИЛ» В. Перехватов

Редактор И. Кивель

Рецензент В. Скороденко

Обложка художника А. Махова

Т $\frac{4703000000-002}{074(02)-90}$ 63-90

ISBN 5-206-00039-6

© Оформление, составление, предисловие, перевод на русский язык
издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1990

Научно-фантастические миры и мир реальный

Открыв этот сборник рассказов американских научных фантастов, мы читаем его как бы новыми глазами. О да, конечно, рассказы эти продолжают традиционные темы научной фантастики — контакты с инопланетными цивилизациями, телепатические и прочие неординарные способности человека, космические перелеты и их последствия. И имена авторов в основном хорошо известны советскому читателю. Тут и знаменитый у нас Рэй Брэдбери, и Урсула Ле Гуин, Айзек Азимов, Роберт Шекли. Несколько менее известны нашим читателям имена Джерома Биксби и Кордвейнера Смита, хотя и их произведения публиковались у нас в стране.

Литературоведы давно выделяют в научной фантастике произведения «жесткие», авторов которых интересуют прежде всего технические новшества и возможности, и «мягкие», где на первый план выступают человек и его, собственно человеческие, проблемы. В этом сборнике вы найдете произведения второго рода. И хотя книга не ограничена узко понимаемой тематикой (это не сборник о роботах, не собрание рассказов о проблемах экологии или о межпланетных контактах), тем не менее, читая сборник, начинаешь понимать, что побудило составителя объединить в нем такие разные произведения — юмористические (например, «Чудовища» Роберта Шекли), глубоко трагические («Мессия» Рэя Брэдбери), трагикомические («Банка с краской» Ван Вогта). Общим оказывается интерес авторов рассказов к философским и морально-этическим проблемам, и, возможно, точнее всего определит тему сборника формула: «мир человека в зеркале американского научно-фантастического рассказа».

Действительно, читателю здесь предлагают поразмыслить над философскими проблемами, но представленными не в умозрительной, а в образной форме. Взять, например, вопрос о системе ценностей. Разве не он волновал Пола Андерсона, автора рассказа «Задержка в развитии»? Ведь его герои, галакты, изучают, в сущности, систему ценностей землян, столь не похожих на них, хотя и схожих внеш-

не. Разве не об этом же в конечном счете рассказ Роберта Шекли, в котором автор высмеивает жителей отдаленной планеты, воображающих, что их образ жизни и образ мыслей единственно правильные? Разве не о системе ценностей, среди прочего, ведет речь Гордон Р. Диксон в рассказе «Повелитель»? Показательно, что герои вроде диксоновского принца или хвостатых чудовищ Шекли любят порассуждать о добре и зле, их волнуют проблемы нравственности. Но это игра лишь «в одни ворота», речь всегда идет только об их собственном благополучии.

Блестящий, глубокий рассказ Урсулы Ле Гуин «Те, кто уходит из Омеласа» перекликается с Евангелиями, с творчеством Достоевского, с идеями Ромэна Роллана и подводит нас к старой, но сейчас особенно актуальной для нашей страны проблеме: оправдывает ли цель средства? Долгое время в нашем обществе считалось, что великая цель оправдывает любые средства. Лишь сейчас мы начинаем понимать, насколько это важно — средства для достижения цели.

Еще одна проблема, давно вызывающая споры, — та, которой посвящен рассказ Кордвейнера Смита «Нэнси». Что лучше: знание страшной реальности, беспросветной действительности или иллюзия, не имеющая под собой реальной почвы, но облегчающая жизнь? Этот вопрос мы в свое время, когда «проходили» в школе драму М. Горького «На дне», тоже решали однозначно. Старый Лука, помогавший несчастным жителям ночлежки, ассоциировался с «враждебными» нам адептами религии, а дальше нам было ясно: иллюзии вредны, реальность — вот единственная подлинная ценность. Но и с иллюзиями, и с реальностью все оказалось не так просто...

Актуальную для нас проблему догм и стереотипов исследуют художественными средствами, каждый по-своему, Джеймс Блиш и Альфред Ван Вогт. Для обоих писателей независимость личности и способность ее к поискам нетривиальных решений (то есть к творчеству) принадлежит, по видимому, к числу высших человеческих ценностей.

Пол Андерсон, например, неожиданно задается вопросом: можно ли сделать управление галактикой централизованным? Имеет ли смысл управлять миллионами миров из единого центра? Это — сегодняшняя наша (пусть с поправкой на масштабы) проблема, как и проблема кон-

троля над властью, оригинально решаемая Гордоном Р. Диксоном в «Повелителе».

В рассказе Альфреда Бестера «Перепутанные провода» между героями, живущими в двух параллельных вселенных, устанавливается телефонная связь. Научная фантастика стала значительным явлением современной культуры именно потому, что оказалась эффективным «средством связи» между человеком и тысячью возможных миров его будущего. И, закономерно,— между «параллельными вселенными» разных социальных структур, сосуществующих на Земле сегодня.

Е. Ванслова

Урсула Ле Гуин

Те, кто уходит из Омеласа

(Вариации на одну из тем Уильяма Джеймса)

Со звоном колоколов, поднявшим ласточек в небеса, в город Омелас, чьи веселые башни высятся на берегу моря, пришел Праздник Лета. Мачты судов в гавани украшены яркими флагами. По улицам, где крыши у домов красные, а стены свежескрашенные, где сады, такие старые, покрылись мхом, под тенистыми деревьями, минуя огромные парки и общественные здания, движутся процессии. Некоторые из них ведут себя сдержанно: это процессии стариков в длинных одеждах, серых или сиреневых, из жесткой ткани, мастеров (эти идут спокойно, а лица у них суровые), женщин, которые, оживленно болтая, несут своих малюток. На других улицах музыка быстрая, то там, то здесь поблескивают гонги и тамбурины, и люди пританцовывают, шествие движется в танце. Выскакивают из процессий и вбегают назад дети, их звонкие голоса взывают над музыкой и пением, перекрещиваясь как полеты ласточек. Все процессии направляются на север, за город, где на огромном заливном лугу, называемом Зелеными Полями, юноши и девушки, одетые только в просвеченный солнцем воздух, у которых руки длинные и гибкие, а ноги забрызганы грязью, сейчас проминают своих беспокойных лошадей: скоро начнутся скачки. Кроме простого недоуздка без мундштука, никакой сбруи на лошадях нет. В гривы их вплетены зеленые, золотистые и серебристые ленты. Лошади раздувают ноздри и, выхвываясь одна перед другой, встают на дыбы; они возбуждены, и это неудивительно: ведь лошадь единственное животное, которое считает наши церемонии также и своими. На севере и западе, полукружьем вокруг Омеласа и его бухты, высятся горы. Утренний воздух прозрачен, и снег, все еще венчающий Восемнадцать Вершин, пылает в солнечном воздухе бело-золотым огнем. Ветра сейчас как раз достаточно, чтобы знамена, которыми обозначен скаковой круг, время

от времени полоскались и даже щелкали. В тишине широко раскинувшихся зеленых лугов отчетливо звучит музыка шествий; меняя улицы, она то становится громче, то слабеет, но все равно приближается — будто едва ощутимое праздничное благоухание воздуха вдруг затрепещет, сгустится, а потом рассыплется на мощные и радостные удары колоколов.

И какие радостные! Как рассказать о радости? Как описать вам горожан Омеласа?

Они, хотя и счастливы, не просты. Но мы, в отличие от них, давно уже не радуемся ничему хорошему. Мы, в отличие от них, разучились улыбаться. Описание вроде приведенного выше заставляет ожидать вполне определенных вещей. Что дальше ты увидишь короля верхом на великолепном скакуне, окруженного свитой знатных рыцарей; или, быть может, его понесут в золотом паланкине рабы с перекатывающимися мускулами. Но короля не будет. Горожане не пользуются мечами, и у них нет рабов. Они не варвары. Я не знаю правил и законов, действующих у них в обществе, но подозреваю, что тех и других до удивления мало. Так же легко, как без монархии и рабства, обходятся они без биржи, рекламы, тайной полиции и ядерного оружия. И однако, я повторяю, они не кроткие пейзажи, не благородные дикари, не прекраснородные граждане утопии. Они не менее сложны, чем мы. К сожалению, мы привыкли считать (и в мысли этой нас старательно укрепляют педанты и лжемудрецы), что быть счастливым — значит обязательно быть дураком. Только боль, пытаются они внушить, интеллектуальна, только зло интересно. Чисто художественное предательство — отказ признать, что зло банально, а боль ужасающе скучна. По принципу: «Не можешь победить врага — присоединись к нему». Что-то причиняет тебе боль — подвергай себя этому снова и снова. Но ведь воспевая отчаянье, ты чернишь радость; принимая насилие в свои объятия, выпускаешь из рук все остальное. Мы выпустили уже почти всё — мы не в состоянии больше описать счастливого человека, не в состоянии даже отличить праздник от будней. Как рассказать вам о жителях Омеласа? Они вовсе не дети, наивные и счастливые, хотя их собственные дети, вообще-то, счастливы. Сами же они зрелые, умные, страстные взрослые люди, и назвать их несчастными никак нельзя. Жизнь их удивительна. Жаль, я не могу описать ее

лучше. Создать впечатление полной достоверности... Омелас, когда я о нем повествую, кажется городом из волшебной сказки: «Когда-то давным-давно, в далеком государстве, жили...» Может, лучше всего вам представить его себе таким, как велит собственное ваше воображение, которое, хочю надеяться, не подведет, ибо сама я угодить на все вкусы, конечно, не смогу. Например, как быть с техникой? Мне кажется, ни автомобилей на улицах, ни вертолетов над улицами быть не должно, иначе как жители Омеласа могли бы быть счастливыми? Ведь в основе счастья лежит умение различать необходимое, не необходимое, но и не пагубное, и пагубное. Во вторую категорию (не необходимое и не пагубное, категория комфорта, роскоши, изобилия) они вполне могли бы отнести центральное отопление, метро, стиральные машины, а также те чудеса науки и техники, которых у нас пока нет: парящие в воздухе источники света, способ получать энергию, не загрязняя среды, лекарство от насморка. А может, ничего такого у них нет вообще — это не имеет значения. Как вам больше нравится. Что касается меня, то я склонна думать, что жители прибрежных городков по обе стороны Омеласа прибыли в Омелас на Праздник Лета на очень быстрых небольших поездах и двухэтажных трамваях и что вокзал в Омеласе самое красивое здание города, хотя по архитектуре он и проще великолепного Крестьянского Рынка. Но даже если мы допустим, что там есть поезда, я боюсь, что пока еще кое-кому из вас Омелас представляется городом в высшей степени благопристойным: улыбки, колокольный звон, шествия, лошади и так далее, и тому подобное. Если и вправду Омелас видится вам таким, то, пожалуйста, добавьте сюда какую-нибудь оргию. Не колеблясь — если только вам кажется, что оргия поможет делу. И однако, давайте договоримся, что не будет храмов, откуда появляются прекрасные нагие жрецы и жрицы уже наполовину в экстазе, готовые совокупляться с мужчиной или женщиной, возлюбленным или незнакомцем, любим, кто возжаждет слияния с божеством, живущим в его крови, хотя именно таков был мой первоначальный замысел. На самом деле, по-моему, лучше, чтобы в Омеласе вообще не было храмов — во всяком случае, храмов со священнослужителями. Религия — да, духовенство — нет. Пусть бродят по округе красивые обнаженные тела, пусть предлагают себя, как

приготовленное богами суфле, голоду алчущих и неистовству плоти. Пусть вливаются в процессии. Пусть над совоккуплениями бьют тамбурины, пусть гонги возвещают о триумфе желания и (это немаловажно) пусть те, кто вследствие этих восхитительных ритуалов появится на свет, станут предметом всеобщей любви и заботы. Чего, я точно знаю, у жителей Омеласа нет, так это чувства вины.

Но все-таки что еще, кроме названного выше, должно в Омеласе быть? Сперва я думала, что там нет наркотиков, но думать так — пуританство. Улицы и переулки города, возможно, благоухают слабым, но стойким ароматом *друда*. Что еще должно быть в этом счастливом городе? Чувство победы, разумеется, преклонение перед храбростью. Но как мы обошлись без духовенства, так же давайте обойдемся и без солдат. Радость после удачной бойни — не та радость, что нам нужна; она сюда не подойдет; она вызывает ужас, и она тривиальна. Беспредельная и щедрая удолветворенность; великодушное торжество, но не над каким-то материальным врагом, а через приобщение к прекраснейшему в душах всех людей и к роскошной благодати лета — вот что переполняет сердца жителей Омеласа, и победа, которую они празднуют, есть победа жизни. Не думаю, чтобы в *друде* здесь нуждались многие.

Почти все шествия уже достигли Зеленых Полей. Из-под красных и синих тентов плывут невероятно вкусные запахи. Сияющие лица детей вымазаны лакомствами; в чьей-то дышащей добродушием седой бороде застряли крошки пирожного. Юноши и девушки на лошадях — у стартовой линии скакового круга. Маленькая толстая старуха, смеясь, раздает цветы из корзины, и высокие юноши вплетают их в свои блестящие волосы. Немного в стороне сидит мальчик лет девяти-десяти и играет на деревянной флейте. Люди останавливаются, слушают, улыбаются, но не заговаривают с мальчиком: ведь он, поглощенный своей игрой, не обращает на них внимания, его темные глаза их не видят, прозрачная, нежная мелодия околдовала его.

Но вот он кончил играть, и его руки вместе с флейтой медленно опускаются.

Сразу, будто сигналом к тому служит наступившее молчание его флейты, в павильоне у стартовой линии звучит труба, звучит печально, властно, пронзительно. Тонконогие

лошади взвиваются на дыбы, некоторые начинают ржать. Молодые ездоки с серьезными лицами гладят им шеи и успокаивают их, шепча: «Ну-ну, красавица моя, надежда моя, спокойно, спокойно...» Всадники выстраиваются у стартовой черты. Толпы по сторонам скакового круга похожи на цветы, колеблемые на лугу ветром. Праздник Лета начался.

Вы поверили? Убедило вас описание Праздника, города, радости? Тогда позвольте мне описать еще кое-что.

В подвале одного из красивых общественных зданий Омеласа — или, быть может, одного из его просторных частных домов — из досок сделана комнатка. Она без окон, а единственная ее дверь заперта. В щели между досками просачивается слабый, будто пыльный свет — не прямо снаружи, а уже пройдя через натянутое паутиной окошко где-то в другом конце подвала. В углу комнатки стоит ржавое ведро и две или три швабры со свалевшимся, затвердевшим, вонючим мочалом. Пол земляной, сыроватый, длиной примерно в три шага, шириной в два — обыкновенный чулан для швабр или ненужных инструментов. В углу комнатки, наиболее удаленном от ведра и швабр, сидит ребенок. Это может быть мальчик, а может быть и девочка. На вид ребенку лет шесть, но на самом деле около девяти. Он слабоумный. Возможно, он родился таким, а возможно, заболел от страха, плохого питания и отсутствия ухода. Он сидит, съежившись, и ковыряет в носу, и время от времени трогает у себя пальцы ног и гениталии. Швабр он боится. Более того, испытывает перед ними ужас. Он закрывает глаза, но все равно знает, что швабры тут, и дверь заперта, и никто не хочет к нему прийти. Дверь заперта всегда, и никто к нему не приходит — только через какие-то промежутки времени (ребенок не ощущает, длинные или короткие) дверь со скрежетом отворяется и за ней оказывается один или несколько человек. Бывает, один из них войдет и пнет ребенка, чтобы тот встал. Остальные стоят за дверью, только заглядывают внутрь, и глаза их полны страха и отвращения. Вошедший торопливо наполняет едой его миску, водой — кувшин, выходит, запирает дверь — и их глаз ребенку больше не видно. Люди эти всегда молчат, не произносят ни слова, но ребенок не вечно был здесь, он помнит солнечный свет и голос матери и иногда начинает говорить. «Я буду хорошим,— говорит

он.— Пожалуйста, отпустите меня! Я буду хорошим!» Ему никогда не отвечают. Раньше ребенок громко кричал по ночам, зовя людей, и много плакал, но теперь только хнычет: «Ы-хыы, ы-хыы», а говорит все реже и реже. Он очень худой, ноги у него как палочки; живот вздут; кормят его раз в день, дают полмиски каши из кукурузной муки с растопленным салом. Он голый. Ягодицы и бедра у него покрыты гноиниками, потому что сидит он все время в собственных экскрементах.

Все они, все до единого жители Омеласа, о нем знают. Некоторые приходят на него посмотреть, другим достаточно просто о нем знать. И все понимают, что находиться там он должен. Некоторые понимают почему, а некоторые нет, но все знают, что в основании их счастья, красоты их города, нежности их дружб, здоровья их детей, мудрости их ученых, мастерства их тружеников, даже изобилия их урожаев и приветливости их небес лежат страшные страдания, которые терпит этот ребенок.

Это объясняют всем детям после того, как они достигнут возраста восьми лет, но до того, как они достигнут возраста двенадцати,— как только взрослые решат, что дети поймут; поэтому посмотреть на ребенка приходит в основном молодежь, хотя приходят также (нередко уже не в первый раз) и взрослые. Как бы хорошо им ни объясняли заранее, юношей и девушек всегда потрясает то, что они видят в чулане. Они испытывают отвращение, подобного которому не испытывали никогда. Испытывают, несмотря на все данные им объяснения, гнев, возмущение, бессилие. Испытывают желание сделать что-то для ребенка. Но ничего сделать они не в состоянии. Вывести ребенка оттуда, где он находится, в свет солнца, отмыть его, накормить и утешить, конечно, было бы замечательно; но в тот самый день и час, когда это будет сделано, процветание, красота и прелесть Омеласа исчезнут без следа. Таково условие. Променять все хорошее в жизни каждого в Омеласе на небольшое улучшение в жизни ребенка, пожертвовать счастьем тысяч ради возможности дать проблематичное счастье одному — вот уж это наверняка означало бы позволить воцариться в городе чувству вины.

Условие должно соблюдаться строжайшим образом: даже доброго слова нельзя сказать ребенку.

Часто юноши и девушки, когда они посмотрели на ре-

бенка и осознали существование страшного парадокса, уходят домой в слезах или разгневанные. Нередко парадокс этот занимает их мысли в течение недель, месяцев, а то и лет. Но постепенно они начинают понимать, что если ребенка выпустить, большой радости это ему не принесет: какое-то слабое, смутно осознаваемое удовольствие от тепла и пищи он, наверное, испытает, но и только. Уж слишком он деградировал, слишком слабоумен для того, чтобы по-настоящему радоваться. Он слишком долго боялся, и теперь ему уже никогда не освободиться от страха. Он уже не сумеет правильно реагировать на человеческое к нему отношение. Более того, теперь, по прошествии столь долгого времени, он, вероятно, будет чувствовать себя несчастным без стен вокруг, без полутьмы и без возможности сидеть в собственных экс-редливостях. Слезы молодежи, вызванные вопиющей несправедливостью, высыхают, когда юноши и девушки начинают видеть страшную справедливость реальности и ее понимать. И однако, именно слезы и гнев жителей Омеласа, попытки проявить благородство и последующее примирение с собственным бессилием обогащают, быть может более чем что-либо другое, их жизнь. Счастье их никак не назовешь легким. Им становится понятно: как и этот ребенок, они не свободны. И понятно, что такое сочувствие. Именно благодаря существованию ребенка и их знанию о том, что он существует, так величественна их архитектура, так страстна их музыка, так глубока их наука. Именно из-за этого ребенка так ласковы они со своими детьми. Они знают: если бы этот несчастный не хныкал там, в темноте чулана, другой, тот, что играет на флейте, не мог бы радовать и улаживать их своей игрой, когда молодые всадники выстраиваются во всей красе перед началом скачек в солнечном свете первого летнего утра.

Ну как, теперь вы в них верите? Разве теперь не легче вам в них поверить? Но осталось рассказать еще кое-что, такое, во что поверить уж совсем невозможно.

Иногда какой-нибудь подросток, девочка или мальчик, после того как сходит посмотреть на ребенка, не только не идет домой плакать или неистовствовать: он не идет домой вообще. А иногда мужчина или женщина много старше перестают вдруг разговаривать на день или два, а потом выходят из дома. Выйдя на улицу, такой человек отправляется в путь.

Он идет и идет и прямо через необыкновенной красоты ворота выходит из Омеласа. Минует близлежащие засеянные поля. Каждый такой человек, юноша или девушка, мужчина или женщина, идет в одиночку. Наступает ночь; путник проходит по деревенским улицам, между крестьянских домов с освещенными окнами, и идет дальше во мрак полей. По-прежнему один, он направляется в сторону гор, на запад или на север. Идет все дальше и дальше. Уходит из Омеласа в темноту и больше не возвращается. Представить себе, куда идут эти люди, труднее даже, чем вообразить город счастья Омелас. Я не берусь описать место, куда идут эти путники. Возможно, его даже не существует. Но похоже, что те, кто уходит из Омеласа, знают, куда идут.

Джером Биксби

Мы живем хорошо!

Тетя Эми сидела на крыльце в кресле-качалке с высокой спинкой и раскачивалась взад-вперед, обмахиваясь веером. Билл Сомс подъехал на велосипеде и соскочил перед домом.

Потев под послеполуденным «солнцем», Билл поднял из корзины над передним колесом коробку с продуктами и направился по дорожке к крыльцу.

Маленький Энтони сидел на лужайке и играл с крысой. Он поймал крысу в подвале — сделал так, что она подумала, будто почуяла сыр, самый пахучий и аппетитный сыр, о каком только крыса может мечтать, и когда она вылезла из норы, Энтони овладел ее мозгом и заставил ее выделять разные штуки.

Увидев Билла Сомса, крыса попыталась убежать, но Энтони не захотел этого, и она кувырком упала в траву и осталась лежать, и глазки ее светились крошечным черным ужасом.

Билл Сомс поспешно прошел мимо Энтони и остановился у ступенек крыльца, что-то бормоча себе под нос. Он всегда бормотал что-то себе под нос, когда приближался к дому Фремонтов, или проходил мимо, или думал о нем. Все так делали. Все усиленно думали о разных глупостях, о ничего не значащих вещах, например, два-и-два, четыре-и-умножить-на-два-восемь и так далее. Все старались перепутать свои мысли и перескакивать в мыслях с предмета на предмет так, чтобы Энтони не мог узнать, о чем они думают. Бормотание под нос помогало. Потому что, если Энтони схватывал какую-либо вашу мысль, он мог найти нужным сделать что-нибудь по этому поводу — например, вылечить головную боль у вашей жены или свинку у вашего ребенка, или вновь заставить доить вашу старую корову, или утрасти какие-нибудь мелкие дела. При этом он мог не иметь в виду ничего плохого, но ведь трудно ожидать от него, чтобы в подобных случаях он делал именно то, что нужно.

Это — если вы ему нравитесь. Он тогда может попытаться помочь вам по-своему. И это бывает по-настоящему ужасно...

А если вы ему не нравитесь... Что ж, тогда может быть еще хуже.

Билл Сомс поставил коробку с продуктами на перила крыльца и перестал бормотать ровно на столько времени, чтобы сказать:

— Все, что вы заказали, мисс Эми.

— О, прекрасно, Вильям,— беззаботно сказала Эми Фремонт.— Господи, ну что за жара сегодня!

Билл Сомс съезжился. Его глаза умоляли ее. Он яростно затряс головой и вновь прервал бормотание, хотя было видно, что ему очень не хочется этого:

— Ну что вы, мисс Эми... Ведь сейчас так славно, ну просто славно. Настоящий *хороший* день!

Эми Фремонт поднялась с кресла-качалки и подошла к Биллу. Это была высокая худошавая женщина; в глазах ее зияла улыбающаяся пустота. Примерно год назад Энтони рассердился на нее, потому что она сказала, что не следует превращать kota в коврик из кошачьей шкуры, и хотя он всегда слушался ее больше чем кого-либо другого — других он вообще не слушался,— на этот раз огрызнулся. Огрызнулся мысленно. И это был конец Эми Фремонт, какой ее знали все. С тех пор у нее никогда больше не блестели глаза. И тогда весь Пиксвилл (население 46 человек) облетел слух, что даже члены собственной семьи Энтони не находятся в безопасности. После этого все удвоили осторожность... Когда-нибудь, возможно, Энтони и исправит то, что он сделал тете Эми. Мать и отец Энтони надеются на это. Когда он подрастет и ему станет жаль ее. То есть если это возможно. Ведь тетя Эми сильно изменилась, и, кроме того, Энтони теперь не слушается никого.

— Успокойся, Вильям,— сказала тетя Эми,— перестань бормотать. Энтони не сделает тебе ничего плохого. Бог свидетель, Энтони любит тебя! — Она повысила голос и обратилась к Энтони, который старался заставить крысу съесть самое себя: — Ты слышишь, дорогой? Ведь, правда, ты любишь мистера Сомса?

Энтони взглянул через лужайку на бакалейщика — пристальный взгляд ярких, влажных пурпуровых глаз. Он ничего не сказал. Билл Сомс попытался улыбнуться ему. Через секунду Энтони вновь обратился к крысе. Крыса уже сожрала собственный хвост, во всяком случае, отгрызла его, потому

что Энтони заставлял ее откусывать быстрее, чем она могла глотать, и вокруг на земле валялись кровавые алые комочки. Теперь крыса пыталась достать до своей спины.

Бормоча себе под нос и изо всех сил стараясь ничего не думать, Билл Сомс на негнущихся ногах прошел по дорожке, забрался на велосипед и нажал на педали.

— До вечера, Вильям! — крикнула ему вслед тетя Эми.

Нажимая на педали, Билл в глубине души пожелал мчаться вдвое быстрее, чтобы как можно скорее убраться от Энтони и от тети Эми, которая временами просто забывает, как нужно быть *осторожным*. И ему не следовало думать о таких вещах, потому что Энтони поймал его мысли. Он поймал желание убраться от дома Фремонтов, как от чего-то *плохого*, и его пурпуровые глаза мигнули, и он послал вслед Биллу Сомсу крошечную хмурую мысль, совсем крошечную, потому что он был в хорошем настроении сегодня и, кроме того, Билл Сомс ему нравился или, по крайней мере, не нравился; по крайней мере — сегодня. Билл Сомс жаждет убраться подальше? Что ж, Энтони обиженно помог ему.

Нажимая на педали со сверхчеловеческой скоростью, — так, впрочем, казалось, потому что в действительности это педали нажимали на его ноги, — Билл Сомс исчез в клубах пыли, умчавшись вниз по дороге. Его тонкие испуганные вопли донеслись сквозь летнюю жару.

Энтони взглянул на крысу. Крыса уже сожрала часть собственного живота и издохла от боли. Тогда он послал ее в глубокую могилу на маисовом поле — однажды отец с улыбкой сказал, что ему, конечно, нетрудно делать так со всеми животными, которых он убивает, — и пошел вокруг дома, отбрасывая странную свою тень в горячем медном свете, льющемся с неба.

На кухне тетя Эми распаковывала продукты. Она поставила горшочки от Мэйсона на полку, спрятала мясо и молоко в холодильник, а свекольный сахар и грубую муку сунула в шкафчик под раковиной. Картонную коробку она поставила в угол около дверей, чтобы мистер Сомс мог взять ее, когда придет в следующий раз. Коробка была испачкана, и потрепана, и порвана, и изношена, но она была одной из немногих, оставшихся еще в Пиксвилле. Выцветшими красными буквами на ней было написано: «Суп Кэмпбелла». Последние бан-

ки супа и всего прочего были съедены давным-давно, если не считать небольшого общественного запаса, к которому жители обращались только в особых случаях, но коробка еще держалась; а когда она и другие коробки развалятся, людям придется мастерить ящики из дерева.

Тетя Эми вышла на задний двор, где мать Энтони — сестра Эми — сидела в тени дерева и лущила горох. Каждый раз, когда мать проводила пальцем вдоль стручка, горошины — лоллоп, лоллоп, лоллоп — падали в сковородку у нее на коленях.

— Вильям привез продукты, — сказала тетя Эми.

Она устало опустилась на стул с прямой спинкой возле его матери и снова принялась обмахиваться веером. Она вовсе не была стара. Но с того дня, когда Энтони мысленно отгрызнулся на нее, что-то скверное случилось не только с ее умом, но и с телом, и она все время чувствовала себя усталой.

— О, хорошо, — сказала мать.

Лоллоп! — упали в сковородку крупные горошины.

Все в Пиксвилле всегда повторяли: «О, прекрасно», или «Хорошо», или «Ну просто замечательно», что бы ни случилось и ни упоминалось — даже несчастье, даже смерть. Они всегда говорили «Хорошо», потому что, если они не старались скрыть свои подлинные чувства, Энтони мог подслушать, и никто не знал, что может тогда случиться. Вот, например, Сэм, покойный муж миссис Кент, вернулся домой с кладбища, потому что Энтони любил миссис Кент и услышал, как она плакала.

Лоллоп.

— Сегодня вечером будет телевизор, — сказала тетя Эми. — Я очень рада. Я всегда так жду телевизора каждую неделю. Интересно, что мы увидим сегодня вечером?

— Билл принес мясо? — спросила мать.

— Да. — Тетя Эми, обмахиваясь веером, взглянула на небо, пылающее равномерным медным огнем. — Господи, как жарко! Хотела бы я, чтобы Энтони сделал немного по-прохладнее...

— Эми!

— О! — Резкое восклицание матери сделало то, чего не смогли сделать умоляющие жесты Билли Сомса. Тетя Эми в тревоге зажала рот исхудалой рукой. — О... Прости, дорогая.

Ее бледные голубые глаза торопливо обежали двор, проверяя, нет ли поблизости Энтони. Не то чтобы это имело значение — ему не надо было находиться поблизости, чтобы узнать, о чем вы думаете. Но обычно, если его внимание не было приковано к кому-нибудь, он был погружен в собственные мысли. И все же какие-то вещи привлекали его внимание, и вы никогда не могли сказать, какие именно.

— Погода просто прекрасная,— сказала мать.

Лоллоп.

— О да,— сказала тетя Эми.— Прекрасный день, я бы ничем не хотела, чтобы стало по-другому.

Лоллоп.

Лоллоп.

— Который час? — спросила мать.

Тете Эми с ее места был виден будильник, стоявший на кухне, на полке над печью.

— Половина пятого,— сказала она.

Лоллоп.

— Сегодня вечером мне хотелось бы чего-нибудь особенного,— сказала мать.— Хороший ростбиф принес Билл?

— Отличный, дорогая. Они забили бычка только сегодня, знаешь ли, и принесли нам лучшую часть.

— Дэн Холлиз будет очень удивлен, когда узнает, что сегодняшняя встреча у телевизора будет одновременно и празднованием его дня рождения!

— О, я думаю, он очень удивится! Никто не говорил ему?

— Все клялись, что не скажут.

— Это будет действительно прекрасно,— кивнула тетя Эми, глядя вдаль, на маисовое поле.— День рождения...

— Ну что ж...— Мать поставила сковородку с горохом на землю рядом с собой, встала и отряхнула фартук.— Я, пожалуй, пойду ставить ростбиф. А потом мы накроем на стол.— Она взяла горох.

Из-за угла вышел Энтони. Он не взглянул на них, а прошел прямо через аккуратно прибранный сад — все сады в Пиксвилле содержались аккуратно,— мимо бесполезной ржавеющей коробки, бывшей когда-то семейным автомобилем Фремонтов, плавно перенесся через изгородь и вышел на маисовое поле.

— Ну до чего прекрасный день,— сказала мать чуть громче, направляясь с тетей Эми к двери на кухню.

Тетя Эми обмахивалась веером.

— Прекрасный день, дорогая, просто прекрасный.

На майсовом поле Энтони шагал между шуршащими рядами зеленых стеблей. Ему нравился запах маиса. Живого маиса над головой и старого, мертвого маиса под ногами. Богатая земля Огайо, насыщенная корнями трав и коричневыми сухими гнилушками початков маиса, при каждом шаге набивалась между пальцами его босых ног,— прошлой ночью он сделал дождь, чтобы сегодня все пахло и было хорошо.

Он прошел до края поля, туда, где роща тенистых зеленых деревьев скрывала прохладную, сырую темную землю, и массу лиственного подлеска, и нагромождения замшелых камней, и маленький родник, образовавший яркое озерко. Здесь Энтони любил отдыхать и глядеть на птиц, и насекомых, и мелких зверьков, как они шуршат, бегают и чирикают вокруг. Он любил лежать на прохладной земле, и вглядываться в движущуюся зелень над головой, и наблюдать, как насекомые вьются в смутных мягких лучах, которые стоят подобно косым пылающим столбам между землей и верхушками деревьев. Ему почему-то нравились мысли маленьких существ в этом месте, нравились больше, чем мысли людей за полем. И хотя мысли, которые он здесь улавливал, не были особенно сильными и яркими, он понимал их достаточно, чтобы знать, что этим маленьким существам нравится и чего они хотят, и он проводил много времени, устраивая рощу так, как это больше всего нравится им. Раньше здесь не было родника. Но как-то раз он уловил жажду в крошечном мохнатом мозгу, и вывел грунтовые воды наружу чистой холодной струей, и наблюдал, помаргивая, как зверек пил, и ощущал его удовольствие. Позже он создал озерцо, обнаружив у другого зверька желание покупаться.

Он устроил камни, и деревья, и пещерки, и кусты, солнечный свет там и тени здесь, потому что он чувствовал во всех этих крошечных мозгах желание — или инстинктивную тягу — именно к такому месту для отдыха, именно к такому месту для спаривания и именно к такому месту для игр и для гнезда.

И видимо, все зверьки со всех пастбищ и полей знали, что это хорошее место, потому что с каждым разом их приходило сюда все больше,— каждый раз, когда Энтони появлял-

ся здесь, он обнаруживал больше зверьков, чем их было накануне, и больше желаний и стремлений, которые надо было удовлетворить. Каждый раз он находил зверьков нового вида, какие ему раньше не попадались, и он заглядывал в их мозг и смотрел, чего они хотят, и давал им то, что они хотели.

Он любил помогать им. Ему нравилось ощущать их простое удовольствие.

Сегодня он лег позади толстого вяза и устремил взгляд своих пурпуровых глаз на красно-черную птицу, только что появившуюся в роще. Она щебетала на ветке над его головой, и прыгала взад и вперед, и думала свои маленькие мысли, и Энтони сотворил большое мягкое гнездо для нее, и очень скоро она забралась туда.

Длинное коричневое гладкошерстное животное пришло напиться из озера. Энтони заглянул в его мозг. Животное думало о зверьке поменьше, который бегал по другую сторону озера, выкапывая насекомых. Зверек не знал, что он в опасности. Длинное коричневое животное перестало пить и напрягло ноги, готовясь к прыжку. И Энтони отправил его в глубокую могилу на маисовом поле.

Он не любил таких мыслей. Они напоминали ему мысли людей в деревне. Давным-давно несколько человек думали вот так же о нем, и однажды вечером они спрятались и ждали его, когда он возвращался из рощи,— и он сразу переправил их всех в могилу на маисовом поле. С тех пор никто из людей не думал о нем так, по крайней мере, не думал отчетливо. Теперь все их мысли были перепутаны и в беспорядке, когда они начинали думать о нем или возле него, поэтому он перестал обращать на них особое внимание.

Ему нравилось иногда помогать людям, но это было не так просто, и не все были довольны его помощью. Они никогда не думали счастливых мыслей, когда он помогал, просто пугались. И он стал проводить больше времени здесь.

Некоторое время он наблюдал птиц, насекомых и зверьков, потом поиграл с одной птицей, заставив ее взмывать и стремглав опускаться и носиться бешено вокруг деревьев, но тут другая птица отвлекла его внимание на секунду, и первая ударилась о камни. От обиды он загнал камни в могилу на поле, но с птицей он сделать больше ничего не мог. Не потому, что она была мертва, а потому, что у нее было сломано крыло. И он отправился домой. Ему не хотелось шагать

через маисовое поле, поэтому он просто явился домой — перенесся в подвал.

Здесь, в подвале, было отлично. Отлично, и темно, и сыро, и даже хорошо пахло, потому что однажды мать стала варить варенье на длинном столе возле дальней стены, но когда Энтони начал приходить сюда, она перестала спускаться, и варенье протекло и разлилось по грязному полу, и Энтони нравился его запах.

Он поймал новую крысу, заставив ее подумать, будто она чует сыр, поиграл с нею и отправил в могилу на маисовом поле рядом с длинным животным, которое он убил в роще. Тетя Эми ненавидела крыс, и он убил их множество, потому что ему нравилась тетя Эми, и иногда он делал то, что хотелось тете Эми. Ее мозг был похож на маленькие мохнатые мозги там, в роще. Она давно уже не думала о нем ничего плохого.

После крысы он поиграл с большим черным пауком в углу под лестницей, заставив его бегать по паутине взад и вперед, пока паутина не затряслась и не засверкала в свете, падающем из отдушины, словно отражение в серебристой воде. Затем он принялся загонять в паутину плодовых мух, пока паук не обалдел совершенно, пытаясь опутать их всех. Пауку нравились мухи, его мысли были сильнее мушиных, поэтому Энтони делал так. Нечто плохое улавливалось в этой любви паука к мухам, но было трудно разобрать, что именно, и, кроме того, тетя Эми ненавидела мух тоже.

Он услышал шаги наверху — мать ходила по кухне. Он мигнул своими пурпуровыми глазами и чуть было не решил заставить ее остановиться, но вместо этого перенесся наверх, на чердак. Взглянув из круглого окна под крышей на лужайку перед домом, на пшеничное поле Гендерсона за нею и на пыльную дорогу, он свернулся в неправдоподобный узел и задремал.

Он услышал, как мать подумала: скоро гости начнут собираться на вечер с телевизором.

Он подремал еще немного. Ему нравились вечера с телевидением. Тетя Эми всегда любила телевизор, и однажды он придумал для нее телевидение, и в это время там были другие люди, и тетя Эми была недовольна, когда они собрались уходить. Он сделал им кое-что за это — и с тех пор все приходят смотреть телевизор.

Ему нравилось внимание, которое ему уделяют.

Отец Энтони вернулся домой в половине седьмого, усталый, грязный и весь в крови. Он был на пастбище Данна с другими жителями, помогая выбрать корову для убоя на этот месяц, и он забил ее, и разделал, и засолил в леднике у Сомса. Так было не потому, что ему нравилась эта работа. Просто каждый занимался этим по очереди. Вчера он помогал старому Макинтайру скосить пшеницу. Завтра они начнут молотить. Вручную. В Пиксвилле все приходится делать вручную.

Он поцеловал жену в щеку и присел у кухонного стола. Он улыбнулся и спросил:

— А где Энтони?

— Где-то недалеко,— сказала мать.

Тетя Эми стояла у горячей плиты и ложкой помешивала в горшке с горохом. Мать вернулась к печи и стала поливать ростбиф жиром.

— Да, сегодня был *хороший* день,— сказал отец, как заводной, механически. Затем он взглянул на котелок с тестом и на доску для нарезания хлеба на столе. Он понюхал тесто.

— М-м,— сказал он.— Я так голоден, что съел бы буханку в один присест.

— Никто не говорил Дэну Холлизу о том, что нынче его день рождения? — спросила мать.

— Нет, мы не проболтались.

— Мы подготовили такой приятный сюрприз!

— М-м? А что?

— Ну... ты знаешь, как Дэн любит музыку. Так вот, на той неделе Тельма Данн нашла у себя на чердаке патефонную пластинку!

— Не может быть!

— Да, да! И мы подбили Этель, чтобы она спросила... знаешь, так, словно бы невзначай... есть ли такая у него. И он ответил, что нет. Разве это не прекрасный сюрприз?

— Да, конечно. Пластинка, подумать только! Почаще бы находить такие вещи! А какая это пластинка?

— «Ты мое солнце» в исполнении Перри Комо.

— Здорово. Мне всегда нравился этот мотив.— На столе лежали несколько сырых морковок. Отец выбрал морковку поменьше, обтер ее о грудь и откусил.— Как же Тельма нашла ее?

— Ну, как обычно... Просто обшаривала дом, искала новые вещи.

— М-м,— отец жевал морковку.— Слушай, а у кого эта картина, которую мы тогда нашли? Мне она нравилась — этот старый корабль на всех парусах...

— У Смитов. В следующую неделю ее возьмут к себе Сайпики, отдадут Смитам музыкальный ящик старого Макинтайра, а мы отдаем Сайпикам...— и она принялась перечислять вещи, которыми будут обмениваться женщины в церкви в воскресенье.

Он кивнул.

— Да, пожалуй, мы не скоро получим картину назад. Слушай, милочка, попробуй забрать у Рейлисов тот детектив. Я был занят в ту неделю, когда он был у нас, и мне так и не удалось прочитать до конца...

— Постараюсь...— сказала мать с сомнением.— Кстати, я слыхала, что Ван Хьюзенсы нашли у себя в подвале стереоскоп.— Голос ее обрел обвиняющие нотки.— И они целых два месяца никому не говорили об этом...

— Скажи-ка,— сказал отец с заинтересованным видом.— Это тоже было бы неплохо. А много картинок?

— Думаю, что много. Я узнаю в воскресенье. Хотелось бы мне заполучить это... Но мы все еще должны Ван Хьюзенсам за их канарейку. Понять не могу, почему эта птичка сдохла именно в нашем доме! А теперь Бетти Ван Хьюзенс ничем не удовлетворишь. Она даже намекнула, что хочет наше пианино на время!

— Ну ладно, милочка, попробуй все-таки насчет стереоскопа. Или еще чего-либо, что, по-твоему, нам бы понравилось.

Он наконец проглотил морковку. Морковка была немного незрелой и жесткой. Из-за капризов Энтони насчет погоды жители никогда не знали заранее, какие посевы дадут урожай и в каком состоянии будет этот урожай. Единственно, что они могли делать,— это сеять как можно больше. И каждый сезон что-нибудь давало достаточный урожай, чтобы прожить. Однажды получился огромный избыток зерна. Тонны зерна пришлось перетащить к окраине Пиксвилла и вышвырнуть в пустоту. А то нечем было дышать, когда оно начало портиться.

— Знаешь,— продолжал отец,— это славно — иметь в де-

ревне новые вещи. Приятно думать, что есть еще много вещей, которых никто не нашел, в подвалах, и на чердаках, и в сараях, и за сундуками. Они как-то помогают жить. А все, что помогает...

— Ш-ш-ш! — мать нервно оглянулась.

— О,— сказал отец, торопливо улыбаясь.— Все в порядке! Новые вещи — это *хорошо!* Так *славно*, когда в деревне появляются вещи, которых ты никогда не видел, и ты знаешь, что вещи, которые ты даешь другим, нравятся людям... Это действительно *хорошо!*

— Очень хорошо! — эхом отозвалась его жена.

— Очень скоро,— сказала тетя Эми от печки,— не останется ни одной новой вещи. Мы разыщем все, что можно найти. Господи, это будет так скверно...

— Эми!

— Ну как же.— Ее бледные глаза были пусты и неподвижны, как всегда, когда она впадала в идиотизм.— Это будет просто стыдно — никаких новых вещей...

— Не *говори* так,— сказала мать, вся дрожа.— Эми, *успокойся!*

— Все *хорошо*,— сказал отец особым, громким, предназначенным для подслушивания голосом.— Это *хорошая* беседа. Все в порядке, милочка, разве ты не понимаешь? Эми может говорить все что хочет, это *хорошо*. Это *хорошо*, что ей так плохо. Все *хорошо*. Все должно быть *хорошо*...

Мать Энтони была очень бледна. И такой же была тетя Эми. Ужас этой минуты внезапно проник сквозь облако, окутывающее ее мозг. Иногда так трудно управляться со словами, чтобы они не оказались попросту уничтожающими. Вы прямо никогда не знаете, что можно, а что нельзя. Так много вещей, о которых лучше не говорить и не думать... но и запрещение говорить и думать о них тоже может выйти боком, если Энтони подслушал и решил что-нибудь предпринять. Никогда нельзя сказать, что собирается сделать Энтони.

Все должно быть хорошо. Должно быть отлично так, как оно есть, даже если на самом деле плохо. Всегда. Потому что любая перемена может быть к худшему, к чудовищно худшему.

— О господи, да, конечно, все *хорошо*,— сказала мать.—

Ты можешь говорить все что хочешь, Эми, это так *славно*. Конечно же, ты хочешь запомнить, что некоторые вещи *лучше* других...

Тетя Эми мешала горох, в ее бледных глазах был ужас.

— О да,— сказала она.— Но мне как-то не хочется разговаривать сейчас... И это... Это так *хорошо*, что мне не хочется разговаривать.

Отец устало сказал улыбаясь:

— Пойду помоюсь.

Гости начали сходитья около восьми. К этому времени мать и тетя Эми приготовили в столовой большой стол и еще два столика по углам. Были зажжены свечи, расставлены кресла, а отец затопил камин.

Первыми пришли Сайпики, Джон и Мэри. На Джоне был его лучший костюм, он тщательно отмылся и был красен после работы на пастбище Макинтайра. Костюм был аккуратно выглажен, но сильно протерся на локтях и манжетах. Старый Макинтайр трудился над созданием ткацкого станка, устройство которого он узнал из школьного учебника, но работа эта продвигалась медленно. Макинтайр умел работать с деревом и инструментами, но ткацкий станок трудно построить без металлических деталей. Макинтайр был одним из тех, кто вначале пытался заставить Энтони создавать необходимые для жителей предметы, например, одежду, и консервы, и медикаменты, и бензин. То, что в результате случилось с семьей Терренсов и Джо Киннеем, было на его совести, он помнил об этом и изо всех сил старался загладить свою вину перед остальными жителями. И с тех пор никто больше не пытался просить Энтони сделать что-нибудь.

Мэри Сайпик была маленькой веселой женщиной в простеньком платье. Она немедленно принялась помогать матери и тете Эми накрывать на стол.

Затем прибыли Смиты и Данны, жившие в конце дороги, в нескольких метрах от пустоты. Они приехали в фургоне, запряженном их старой лошастью.

Затем пришли Рейли из-за погруженного в темноту пшеничного поля, и вечер начался. Пэт Рейли сел за пианино в гостиной и стал играть по нотам популярные мелодии. Он играл негромко и выразительно — и никто не пел. Энтони очень любил музыку, но не пение. Часто он вступал в комнату

из подвала или чердака, просто вступал и садился на пианино, покачивая головой, пока Пэт играл «Любимого», или «Бульвар разбитой мечты», или «Ночь и день». По всей видимости, он предпочитал баллады или лирические песенки, но когда однажды кто-то начал подпевать, Энтони взглянул на него с пианино и сделал что-то такое, отчего впредь больше никто не решался петь. Позже они решили: наверное, пианино было первым, что Энтони услышал в своей жизни, еще прежде, чем кто-либо попробовал петь при нем, и теперь все, что добавляется к пианино, кажется ему неприятным и мешает удовольствию.

И вот на каждом телевизионном вечере Пэт должен был играть на пианино, и это было началом вечера. Где бы Энтони ни был, музыка услаждала его и приводила в хорошее настроение, и так он узнавал, что они собрались на телевизионный вечер и ждут его.

В половине десятого собрались все, кроме семнадцати детей, оставленных под присмотром миссис Сомс в здании школы на другом конце деревни. Пиксвиллским детям было категорически запрещено приближаться к дому Фремонтов с того дня, как маленький Фред Смит попробовал поиграть с Энтони. Младшим детям даже никогда не говорили об Энтони. Остальные же либо забыли о нем, либо были предупреждены, что он — славный добрый домовой, но подходить к нему нельзя.

Дэн и Этель Холлиз пришли поздно, и Дэн ни о чем не подозревал. Пэт Рейли играл на пианино, пока у него не заболели руки — он много потрудился ими сегодня, — и теперь он встал, и все столпились вокруг Дэна Холлиза, чтобы поздравить его с днем рождения.

— Да что вы говорите! — воскликнул Дэн, расплываясь в улыбке. — Вот здорово-то! Вот уж совсем не ожидал... Ей-ей, это здорово!

Они принесли ему подарки — большей частью самодельные, но также и несколько вещей, принадлежавших им и переходивших теперь в его собственность. Джон Сайпик подарил ему брелок на часовую цепочку, вырезанный из орешника. Часы Дэна сломались год назад, и никто в деревне не знал, как починить их, потому что часы эти достались ему от деда и были старинными, тяжелыми, из позолоченного серебра. Под общий смех он прикрепил брелок к цепочке

и сказал, что Джон здорово умеет вырезать по дереву. Затем Мэри Сайпик подарила ему вязанный галстук, который он тут же надел, сняв свой.

Рейли подарили ему самодельный маленький ящичек, предназначенный для хранения разных вещей. Они не сказали, каких именно вещей, но Дэн заявил, что будет хранить в этом ящичке свои фамильные драгоценности. Рейли изготовили его из ящичка из-под сигар, ободрав тщательно бумагу и оклеив изнутри бархатом. Снаружи ящик был отполирован и тщательно, хоть и не весьма искусно украшен резьбой, но резьба Пэта тоже была одобрена. Дэн Холлиз получил много других подарков: трубку, шнурки для ботинок, булавку для галстука, вязаные носки, несколько конфет, резинки для носков, сделанные из старых подтяжек.

Он разворачивал каждый подарок с бесконечным удовольствием и тут же надевал на себя все, что можно было, даже резинки для носков. Он раскурил трубку и объявил, что никогда еще не курил с таким наслаждением, и это было неправдой, потому что трубка была еще не обкурена. Пит Меннерз получил ее в подарок от своего родственника из другого города четыре года назад — этот родственник не знал, что он бросил курить.

Дэн очень аккуратно набил трубку табаком. Табак был дорог. Это было просто случайной удачей, что Пэт Рейли решил посадить немного табака у себя на заднем дворе накануне того дня, когда с Пиксвиллом случилось то, что случилось. Табак рос плохо, кроме того, им самим приходилось заготавливать его, резать и прочее, и он был очень дорог. В каждом доме были деревянные запасники для окурков, сделанные старым Макинтайром.

Наконец Тельма Данн подарила Дэну Холлизу найденную ею обертку. Он сразу понял, что это пластинка.

— Господи...— сказал он тихо.— Что же это? Я просто боюсь взглянуть...

— У тебя такой нет, милый,— улыбнулась Этель Холлиз.— Помнишь, я тебя спрашивала, есть ли у тебя «Ты мое солнце»?

— Господи,— повторил Дэн. Он осторожно развернул обертку и некоторое время стоял, любуясь пластинкой, проводя большой ладонью по изношенным бороздкам записи с тонкими штрихами царапин. Он оглядел комнату сияюще-

ми глазами, и все улыгнулись ему в ответ, зная, какая это для него радость.

— Со счастливым днем рождения, милый,— сказала Этель Холлиз, обнимая за шею и целуя его.

Он держал пластинку обеими руками, отведя ее в сторону, пока жена прижималась к нему.

— Осторожно! У меня в руках сокровище!

Он снова оглядел всех поверх головы жены. Глаза его горели.

— Слушайте... А нельзя ли ее проиграть? Боже мой, что бы я не дал, чтобы услышать новую музыку! Хотя бы только первую часть, оркестр, перед тем как Кома вступает?

Лица посуровели. После минутной паузы Джон Сайпик сказал:

— Мне кажется, не стоит, Дэн. В конце концов мы ведь не знаем, когда вступает певец... Лучше не искушать судьбу. Лучше подожди, пока вернешься домой.

Дэн Холлиз неохотно положил пластинку на буфет, рядом с остальными подарками.

— Это *хорошо*,— сказал он автоматически, но разочарованно.— Это *хорошо*, что я не могу послушать ее здесь.

— Да, конечно,— сказал Сайпик.— Это *хорошо*.— Чтобы забыть разочарованный тон Дэна, он повторил: — Это *хорошо*.

Они сели обедать, свечи озаряли их улыбающиеся лица, и они съели обед до последней крошки, до последней капли превосходного соуса. Они похвалили мать и тетю Эми за ростбиф, и за горох, и за морковь, и за нежный маис в початках. Разумеется, маис был не с поля Фремонтов — все знали, что на этом поле, и оно зарастало травой.

Затем они угостились десертом — домашним мороженым и печеньем. А потом откинулись на спинки кресел и принялись болтать при мерцающем свете свечей, ожидая телевизора.

В телевизионные вечера обычно не бормотали себе под нос: все приходили и угощались вкусным обедом у Фремонтов, и это было приятно, и после был телевизор, и никто особенно не думал о телевизоре, который был чем-то вроде принудительного ассортимента. Так что это были просто приятные вечера в обществе, если не считать необходимости

следить за своими словами так же тщательно, как и в любом другом месте. Если на ум вам приходила опасная мысль, вы начинали бормотать себе под нос, хотя бы и посередине фразы. Когда вы делали так, остальные просто не обращали на вас внимания, пока вам не становилось лучше и вы не переставали бормотать.

Энтони любил телевизионные вечера. За весь прошлый год он только два или три раза совершил ужасные поступки на этих вечерах.

Мать поставила на стол бутылку бренди, и каждому налили по крохотному стаканчику. Спиртное было еще более драгоценно, нежели табак. Жители делали вино, но виноград был плох, техника тоже, и вино не получалось хорошим. Настоящего спиртного в деревне осталось всего несколько бутылок: четыре ржаного виски, три шотландского, три бренди, девять обычного вина и полбутылки «Драмбьюи»*, принадлежавшего старому Макинтайру (только для свадеб), — и когда запасы кончатся, ничего больше не останется.

Позже все пожалели, что было выставлено бренди. Потому что Дэн Холлиз выпил его больше, чем следовало, и смешал с большим количеством домашнего вина. Сначала никто не подозревал ничего дурного, потому что Дэн не выказывал признаков опьянения, и это был день его рождения, и праздник шел весело, а Энтони любил такие сборища и вряд ли имел повод сделать что-либо, даже если и подслушивал.

Но Дэн Холлиз опьянел и сделал глупость. Если б они вовремя заметили неладное, они б увели его домой.

Сначала они заметили, что Дэн перестал смеяться на самой середине рассказа о том, как Тельма Дани нашла пластинку с Перри Комо и уронила ее, и пластинка не разбилась, потому что Тельма двигалась быстрее чем когда-либо в жизни и подхватила ее. Он снова гладил пластинку и жадно смотрел на граммофон Фремонтов, стоявший в углу, и вдруг он перестал смеяться, лицо его обвисло и стало неприятным, и он сказал:

— О господи боже мой!

Мгновенно в комнате все стихло. Стало так тихо, что можно было слышать жужжащий ход дедовских часов за

* Шотландский ликер из виски, меда и трав.

стеной. Пэт Рейли, тихонько игравший на пианино, перестал играть, и его руки замерли над клавишами.

Свечи в столовой мигнули в прохладном ветерке, подувшем через кружевные занавески на окне.

— Продолжай играть, Пэт,— тихо сказал отец Энтони.

Пэт снова заиграл. Он играл «Ночь и день», но глаза его были прикованы к Дэну, и он часто ошибался.

Дэн стоял посредине комнаты, держа пластинку. В другой руке он сжимал стакан с бренди, и рука его тряслась от напряжения.

Все смотрели на него.

— Господи боже мой,— повторил он и еле слышно выругался.

Преподобный Янгер, разговаривавший с матерью и тетей Эми у дверей, тоже сказал: «Господи...» — но он произнес это слово с молитвенным выражением. Руки его были сложены и глаза закрыты.

Джон Сайпик вышел вперед.

— Слушай, Дэн...— проговорил он.— Это *хорошо*, что ты так говоришь. Но ведь ты не хочешь говорить много, не так ли?

Дэн стряхнул ладонь Сайпика со своей руки.

— Не могу даже послушать свою пластинку,— сказал он громко. Он поглядел на пластинку, затем обвел взглядом лица соседей.— О господи...

Он швырнул стакан в стену. Стакан разбился, и бренди потекло по обоям.

Кто-то из женщин вскрикнул.

— Дэн,— шепотом сказал Сайпик.— Дэн, перестань...

Пэт Рейли стал играть «Ночь и день» громче, чтобы заглушить разговор. Впрочем, если б Энтони слушал, это бы не помогло.

Дэн Холлиз подошел к пианино и, слегка покачиваясь, остановился за плечом у Пэта.

— Пэт,— сказал он.— Не играй это. Играй вот это.— И он запел — тихо, хрипло, жалобно: — «В мой день рождения... В мой день рождения...»

— Дэн! — взвизгнула Этель Холлиз. Она попыталась побежать к нему, но Мэри Сайпик схватила ее за руку и удержала на месте.— Дэн! — крикнула Этель.— Перестань!

— Господи, тише! — прошипела Мэри Сайпик и подтолк-

нула Этель к одному из мужчин, который подхватил ее и зажал ей рот ладонью.

— «В мой день рождения,— пел Дэн,— счастья желайте мне...» — Он остановился и взглянул вниз, на Пэта.— Играй, Пэт, играй, чтобы я мог петь правильно... Ты же знаешь, я всегда сбиваюсь с мотива, если не играют!

Пэт Рейли положил руки на клавиши и заиграл «Любимого» — в темпе медленного вальса, так, как это нравилось Энтони. Лицо у Пэта было белое. Его руки дрожали.

Дэн Холлиз уставился на дверь. На мать Энтони и на отца Энтони, который встал рядом с нею.

— Это *вы* породили его,— сказал он. Свет свечей отразился в слезах, катившихся по его щекам.— Это *вы* взяли и породили его...

Он закрыл глаза, и слезы полились из-под закрытых век. Он громко запел:

— «Ты мое солнце... мой радостный свет... ты дала радость...»

Энтони *возник* в комнате.

Пэт перестал играть. Он замер. Все в комнате замерло. Ветер надул занавески. Этель Холлиз больше не пыталась кричать — она потеряла сознание.

— «Не отнимай мое солнце... у меня...» — голос Дэна пресекся и заглох. Глаза его расширились. Он выставил перед собой руки, в одной он сжимал пластинку. Он икнул и сказал: — Не надо...

— Плохой человек,— сказал Энтони и превратил Дэна Холлиза в нечто невообразимо ужасное и затем отправил его в могилу, глубоко-глубоко под маисовым полем.

Пластинка упала на ковер. Она не разбилась.

Энтони обвел комнату пурпуровыми глазами.

Некоторые гости принялись бормотать, все старались улыбаться. Бормотание наполнило комнату, подобно далекому звуку одобрения. И сквозь этот гул ясно и отчетливо слышались два или три голоса.

— О, это очень *хорошо*,— сказал Джон Сайпик.

— Прекрасно,— сказал отец Энтони улыбаясь. У него было больше практики в улыбке, чем у всех остальных.— Превосходно!

— Здорово... Просто здорово,— сказал Пэт Рейли. Слезы текли по его лицу и капали с носа, и он снова принялся

играть на пианино, тихо, медленно, нащупывая пальцами мелодию «Ночи и дня».

Энтони забрался на пианино, и Пэт играл два часа подряд.

Затем они смотрели телевизор. Все перешли в гостиную, зажгли всего пару свечей и придвинули кресла к телевизору. Экран был маленький, и все не могли усесться так, чтобы было видно, но это не имело значения. Они даже не включили телевизор. Все равно ничего бы не вышло, ведь в Пиксвилле не было электричества.

Они просто молча сидели и смотрели, как на экране изви-ваются и трепещут странные формы, и слушали невнятные звуки, исходящие из динамика, и никто из них понятия не имел, что все это значит. Никто никогда не понимал. Это было всегда одно и то же.

— Все это прекрасно,— заметила тетя Эми, не отрывая взгляда бледных глаз от мелькания теней на экране.— Но мне больше нравилось, когда показывали города и мы могли...

— Ну что ты, Эми,— сказала мать.— Это *хорошо*, что ты говоришь так. Очень *хорошо*. Но ведь ты не имеешь этого в виду, верно? Этот телевизор гораздо лучше того, что у нас был раньше!

— Конечно,— согласился Джон Сайпик.— Это великолепно. Это самое лучшее, что мы когда-либо видели...

Он сидел на кушетке с двумя другими мужчинами, удерживая Этель Холлиз, держа ее за руки и за ноги и зажимая ей рот ладонью, чтобы она не могла кричать.

— Это просто *хорошо*,— добавил он.

Мать взглянула в окно, туда, за погруженную во тьму дорогу, за погруженное во тьму пшеничное поле Гендерсона, в гигантскую, бесконечную серую пустоту, в которой маленькая деревушка Пиксвилл плавала, словно проклятая небом душа,— в исполинскую пустоту, которая была лучше всего видна по ночам, когда кончался медно-красный день, созданный Энтони.

И нечего было надеяться понять, где они находятся... Нечего. Пиксвилл просто был *где-то*. Где-то вне Вселенной. Так стало с того дня, три года назад, когда Энтони вышел из утробы матери, и доктор Бэйтс — господь да упокоит его! — издал дикий крик, и уронил новорожденного, и попы-

тался умертвить его, и Энтони завыл и сделал все это. Перенес куда-то деревню. Или уничтожил всю Вселенную, кроме деревни. Никто не знал, что именно.

И нечего было задумываться над этим. Ничего хорошего все равно не вышло бы. И вообще ничего хорошего не вышло. Оставалось только стараться выжить. Выжить, выжить во что бы то ни стало. Если позволит Энтони.

«Опасные мысли»,— подумала она.

Она забормотала себе под нос. Остальные тоже принялись бормотать. Видимо, они тоже думали.

Мужчины на кушетке шептали и шептали на ухо Этель Холлиз, и когда они отпустили ее, она тоже принялась бормотать.

Энтони сидел на телевизоре и показывал передачу, а они сидели вокруг, и бормотали, и смотрели на бессмысленно мелькающие тени на экране, и так продолжалось до глубокой ночи.

На следующий день выпал снег и погубил половину урожая...

И все же это был *хороший* день.

Альфред Бестер

Перепутанные провода

Я расскажу эту историю без утайки, в точности так, как все произошло, потому что все мы, мужчины, небезгрешны в таких делах. Хотя я счастлив в браке и по-прежнему люблю жену, временами я влюбляюсь в незнакомых женщин. Перед красным светофором я бросаю взгляд на девушку в остановившемся рядом такси и влюбляюсь в нее как безумный. Я еду в лифте и пленяюсь девушкой, которая поднимается вместе со мной, держа в руке стопку трафаретиков. На десятом этаже она выходит и уносит вместе с трафаретами и мое сердце. Помню, как однажды в рейсовом автобусе я влюбился в манекенщицу. Она держала неотправленное письмо, а я старался прочесть и запомнить адрес.

А какой соблазн случайные звонки по телефону! Раздается звонок, вы снимаете трубку, и женский голос говорит:

— Попросите, пожалуйста, Дэвида.

В доме нет никаких Дэвидов, и голос явно незнакомый, но такой волнующий и милый. За две секунды я успеваю насочинять, как я назначаю этой девушке свидание, встречаюсь с ней, закручиваю роман, бросаю жену и сбегая на Капри, где упиваюсь греховным счастьем. После этого я говорю:

— А по какому номеру вы звоните?

Когда я вешаю трубку, мне стыдно взглянуть на жену, я чувствую себя изменником.

Тот звонок, что прозвучал в моей квартире на Мэдисон, 509, вовлек меня именно в такую историю. Мои бухгалтерша и секретарша ушли обедать, и я сам снимал трубку стоявшего на моем столе телефона. Чей-то милый голосок с невероятной скоростью затараторил:

— Здравствуй, Дженет. Дженет, милая, ты знаешь, яшла работу. Такая чудная контора, сразу за углом, на Пятой авеню, там, где старое здание Тиффани. Работать буду с десяти до четырех. У меня свой стол и даже маленькая комнатка с окошком, целиком в моем распоряжении, и я...

— Простите,— сказал я, нафантазировавшись вволю,— по какому номеру вы звоните?

— Господи боже! Ну конечно, не по вашему!

— Боюсь, что нет.

— Пожалуйста, простите, что я вас побеспокоила.

— Ну что вы! Поздравляю с новой работой.

Она засмеялась:

— Большое спасибо.

Мы повесили трубки. У нее был такой чудный голосок, что я решил отправиться с ней на Таити вместо Капри. И тут опять прозвенел телефон. И снова тот же голосок:

— Дженет, милая, это Пэтси. Ты представляешь, какой ужас! Звонила только что тебе и попала совсем не туда, и вдруг ужасно романтический голос...

— Благодарю вас, Пэтси. Вы опять попали не туда.

— Господи! Снова вы?

— Угу.

— Это ведь Прескотт 9-32-32?

— Даже похожего ничего нет. Это Плаза 6-50-00.

— Просто не представляю себе, как я набрала такое. Я, наверное, сегодня очень уж бестолкова.

— Скорее очень уж взволнованы.

— Пожалуйста, простите.

— С удовольствием,— ответил я.— У вас, по-моему, тоже очень романтический голос, Пэтси.

На этом разговор закончился, и я отправился обедать, повторяя в уме номер: Прескотт 9-32-32... Вот позвоню, попрошу Дженет и скажу ей... Что я ей скажу? Понятия не имею. Я знал лишь, что ничего подобного не сделаю; но я ходил в каком-то радужном тумане и, только придя в контору, вынужден был заняться делами. Стряхнув наваждение, я вернулся к реальности.

Подозреваю все же, что моя совесть была нечиста: я не рассказал жене об этом случае.

До замужества жена служила у меня в конторе и продолжает живо интересоваться всем, что там происходит. Каждый вечер я рассказываю ей все наши новости, и мы с удовольствием их обсуждаем по целому часу. Не было исключением и этот вечер, но о звонке Пэтси я умолчал. Я чувствовал себя неловко.

До того неловко, что на следующий день отправился

в контору раньше обычного, дабы загладить укоры совести сверхурочной работой. Никто из моих девушек еще не пришел, и отвечать на телефонные звонки должен был я сам. Примерно в полдевятого зазвонил телефон, и я снял трубку.

— Плаза 6-50-00,— сказал я.

Последовало мертвое молчание, которое меня взбесило. Я лютой ненавистью ненавижу растяп телефонисток, принимающих по несколько звонков подряд и заставляющих висеть на проводе абонентов.

— Чертова кукла! — сказал я.— Надеюсь, что вы меня слышите. Сделайте одолжение, впредь не трезвонить до того, как сможете соединить меня с тем, кто звонит. Кто я вам, лакей? Катитесь к дьяволу.

И в тот миг, когда я собирался шмякнуть трубку, тихий голосок сказал:

— Простите.

— Пэтси? Снова вы?

— Да, я,— ответила она.

Мое сердце так и екнуло: я понял, понял, что этот звонок уже не мог быть случайным. Она запомнила мой номер. Ей захотелось еще раз поговорить со мной.

— Доброе утро, Пэтси,— сказал я.

— Какой вы сердитый!

— Боюсь, что я вам нагрубил.

— Нет, нет. Ведь виновата я сама. Я вас все время беспокою. Не знаю, почему так получается, но всякий раз, когда я звоню Джен, я попадаю к вам. Наверно, наши провода где-то пересекаются.

— В самом деле? Очень жаль. А я надеялся, что вам захотелось услышать мой романтический голос.

Она рассмеялась:

— Ну, не такой уж он романтический.

— Я с вами грубо говорил. Мне бы очень хотелось как-то загладить свою вину. Вы позволите угостить вас сегодня обедом?

— Спасибо, нет.

— А с какого числа вы приступаете к работе?

— Уже с сегодняшнего. До свидания.

— Желаю вам успеха, Пэтси. После обеда позвоните Джен и расскажите мне, как вам работается.

Я повесил трубку, не совсем уверенный, пришел ли я так

рано из добросовестности или в надежде на этот звонок. Честно говоря, второе представлялось мне более вероятным. Человек, вступивший на зыбкую почву обмана, внушает подозрения даже самому себе. Я был настолько собой недоволен, что заел в то утро своих помощниц.

Вернувшись после обеда, я спросил у секретарши, звонил ли кто-нибудь.

— Только из бюро ремонта телефонов,— ответила она.— Какие-то неполадки на линии.

Значит, и сегодня утром Пэтси звонила случайно, подумал я, а не потому, что ей хотелось поговорить со мной.

Я отпустил обеих девушек домой в четыре — в виде компенсации за утренние придирки (во всяком случае, себе я объяснил это так). С четырех до полшестого я слонялся по конторе, ожидая звонка Пэтси, и до того расфантазировался, что устыдился сам себя.

Я отхлебнул из последней бутылки, которая оставалась после встречи рождества у нас в конторе, запер дверь и пошел к лифту. В тот момент, когда я нажимал на кнопку, я услышал, что в конторе звонит телефон. Я как бешеный метнулся к двери, быстро ее отворил (ключ я еще держал в руке) и схватил телефонную трубку, чувствуя себя последним идиотом. Я попытался замаскировать свое волнение шуткой.

— Прескотт 9-32-32,— запыхавшись, произнес я.

— Извините,— сказал голос моей жены.— Я не туда попала.

Что я мог ответить? Пришлось позволить ей повесить трубку. Я стал ждать ее вторичного звонка, обдумывая, каким голосом мне говорить, чтобы она не догадалась, что за минуту до этого уже разговаривала со мной. Я решил держать трубку как можно дальше ото рта, и когда зазвонил телефон, снял трубку и, вытянув вперед руку, стал отдавать деловитые и энергичные приказы отсутствующим подчиненным, затем, поднеся трубку ко рту, произнес:

— Алло?

— Господи, до чего же вы важный! Прямо генерал.

— Пэтси?

Сердце гулко ударило в моей груди.

— Боюсь, что так.

— Кому же вы звоните: мне или Джен?

— Разумеется, Джен. С этими проводками какой-то

кошмар творится. Мы уже звонили в бюро ремонта.

— Знаю. Как вам работается на новом месте?

— Ничего... По-моему, ничего. Шеф гавкает совсем как вы. Я боюсь его.

— И напрасно. Поверьте моему опыту, Пэтси. Когда кто-то очень уж орет, знайте, что он чувствует себя неловко.

— Я не понимаю.

— Допустим, ваш начальник занимает слишком высокий пост и сам понимает, что недотягивает. Вот он и пытается изобразить важную птицу.

— По-моему, это не так.

— А может быть, вы ему нравитесь и он боится, как бы это не отразилось на служебных делах. Он, может быть, орет на вас лишь для того, чтобы не быть слишком любезным.

— Сомневаюсь.

— Почему? Разве вы не привлекательны?

— Об этом не меня нужно спрашивать.

— У вас приятный голос.

— Благодарю вас, сэр.

— Пэтси,— сказал я.— Я мог бы дать вам немало полезных и мудрых советов. Ясно, что сам Александер Грейам Белл* судил нам встретиться. Так для чего же мы противимся судьбе? Пообедаем завтра вместе.

— Боюсь, мне не удастся...

— Вы условились обедать с Дженет?

— Да.

— Значит, вам нужно обедать со мной. Я все равно выполняю половину обязанностей Дженет: отвечаю вместо нее на телефонные звонки. А где награда? Жалоба телефонного инспектора? Разве это справедливо, Пэтси? Мы с вами съедем хотя бы пол-обеда, а остальное завернете и отнесете Дженет.

Пэтси засмеялась. Чудесный был у нее смех.

— Я вижу, вы умеете подъехать к девушке. Как ваше имя?

— Говард.

— Говард, а что дальше?

— Я хотел задать вам тот же вопрос. Пэтси, а что дальше?

— Но я первая спросила.

* Александер Грейам Белл (1847—1922) — один из изобретателей телефона.

— Я предпочитаю действовать наверняка. Либо я представлюсь вам, когда мы встретимся, либо останусь анонимом.

— Ну хорошо,— ответила она.— Мой перерыв с часу до двух. Где мы встретимся?

— На Рокфеллер Плаза. Третий флагшток слева.

— Как величественно!

— Вы запомните? Третий слева.

— Да, запомню.

— Значит, завтра в час?

— Завтра в час,— сказала Пэтси.

— Вы меня легко узнаете: сквозь мой нос продета кость. Ведь я абориген, человек без фамилии.

Мы рассмеялись и повесили трубки. Я тут же выкатился из конторы, чтобы меня не застиг звонок жены. Совесть мучила меня и в этот вечер, но я кипел от возбуждения. Я еле смог уснуть. В час на следующий день я ждал у третьего флагштока слева на Рокфеллер Плаза, приговаривая в уме искрометный диалог и одновременно стараясь выглядеть как можно импозантнее. Я полагал, что Пэтси, прежде чем подойти, непременно оглядит меня украдкой.

Пытаясь угадать, какая из них Пэтси, я внимательно рассматривал всех проходивших мимо девушек. Нигде на свете нет такого множества красивых женщин, как на Рокфеллер Плаза в обеденный час. Их здесь сотни. Я придумывал реплики и ждал. А Пэтси все не шла. В половине второго я понял, что не выдержал экзамена. Она, конечно, побывала на Рокфеллер Плаза и, увидев меня, решила, что не стоит продолжать знакомства. Ни разу в жизни не был я так унижен и зол.

В конце дня моя бухгалтерша отказалась от места, и, говоря по совести, я не могу ее винить. Ни одна уважающая себя девушка не стала бы терпеть такое обращение. Я задержался, чтобы позвонить в бюро по найму с просьбой прислать новую бухгалтершу, и лаялся с ними полчаса. Около шести зазвонил телефон. Это была Пэтси.

— Кому вы звоните: мне или Джен? — сердито спросил я.

— Вам,— ответила она ничуть не менее сердито.

— Плаза 6-50-00?

— Нет. Такого номера не существует, и вы отлично это

знаете. Я позвонила Джен, надеясь, что пересекающиеся провода снова соединят меня с вами.

— Как прикажете понять ваши слова о том, что моего номера не существует?

— Уж не знаю, что у вас за специфическое чувство юмора, мистер Абориген, но со мной вы обошлись сегодня просто подло... Продержали целый час на площади, а сами не пришли. И вам не совестно?

— Вы меня ждали целый час? Неправда. Вас там не было.

— Нет, я была, и вы меня обманули, как дуру.

— Пэтси, это невозможно. Я вас прождал до полвторого. Когда вы пришли?

— Ровно в час.

— Значит, произошла какая-то ужасная ошибка. Вы точно все запомнили? Третий флагшток слева?

— Да. Третий слева.

— Может быть, мы с вами перепутали эти флагштоки? Вы не представляете себе, как я расстроен.

— Я вам не верю.

— Как мне вас убедить? Я ведь и сам решил, что вы меня одурачили. Я весь день так бесновался, что в конце концов от меня ушла бухгалтерша. Вы случайно не бухгалтер?

— Нет. Кроме того, у меня есть работа.

— Пэтси, я прошу вас, пообедайте завтра со мной, только на этот раз условимся так, чтоб ничего не перепутать.

— Право, не знаю, есть ли у меня желание...

— Ну, пожалуйста, Пэтси. Вы, кстати, объясните, отчего вы вдруг решили, что номера Плаза 6-50-00 не существует. Что за чушь!

— Я совершенно точно знаю, что его не существует.

— Как же я с вами говорю? По игрушечному телефону? Она засмеялась.

— Скажите мне ваш номер, Пэтси.

— Э, нет. С номерами будет то же, что с фамилиями: я не скажу вам своего, покуда не узнаю ваш.

— Но вы знаете мой номер.

— Нет, не знаю. Я пробовала к вам сегодня дозвониться, и телефонистка сказала, что даже коммутатора такого нет. Она...

— Она сошла с ума. Мы все это обсудим завтра. Значит, снова в час?

— Но никаких флагштоков.

— Хорошо. Вы, помните, когда-то говорили Джен, что ваша контора сразу за углом от старого здания Тиффани?

— Да.

— На Пятой авеню?

— Ну да.

— Так вот, я буду ждать вас завтра ровно в час там на углу.

— И не советую вам меня подводить.

— Пэтси...

— Что, Говард?

— Вы даже еще милее, когда сердитесь.

На следующий день лил проливной дождь. Я добрался до юго-восточного угла Тридцать седьмой и Пятой, где возвышается старое здание Тиффани, и проторчал под дождем от без десяти минут час до без двадцати два. Пэтси снова не явилась. У меня не укладывалось в голове, как эта девушка могла так гнусно меня подвести. Затем я вспомнил ее нежный голосок и милую манеру говорить, и у меня мелькнула слабая надежда, что она побоялась выйти на улицу из-за дождя. Может быть, она даже звонила мне, чтобы предупредить, но не застала.

Взяв такси, я вернулся в контору и сразу спросил, звонил ли кто-нибудь в мое отсутствие. Мне не звонили. Расстроенный и возмущенный, я спустился вниз и зашел в бар отеля «Мэдисон авеню». В баре я заказал себе несколько порций виски, чтобы согреться после дождя, пил, мечтал и через каждый час звонил в контору. Один раз какой-то бес толкнул меня, и я набрал Прескотт 9-32-32: хотел поговорить хоть с Дженет. Но почти тотчас услышал голос телефонистки:

— Назовите, пожалуйста, номер, по которому вы звоните.

— Прескотт 9-32-32.

— Прошу прощения. У нас не зарегистрирован такой индекс. Будьте добры, еще раз сверьтесь с вашим справочником.

Ну что ж, поделом мне. Я повесил трубку, заказал еще разок, другой и третий виски, потом увидел, что уже половина шестого, и решил, прежде чем отправиться домой, в последний раз позвонить в контору. Я набрал свой номер. Раздался щелчок, приглушенный гудок, и мне ответил голос Пэтси. Я его сразу узнал:

- Пэтси?
- Кто это говорит?
- Говард. Для чего вы забрались ко мне в контору?
- Я у себя дома. Как вы узнали мой номер?
- Я и не думал его узнавать. Я звонил к себе в контору, а попал к вам. Наверное, наши провода барахлят в обе стороны.
- У меня нет охоты с вами разговаривать.
- Наверное, вам стыдно разговаривать со мной.
- Что вы имеете в виду?
- Послушайте, Пэтси. Вы безобразно со мной поступили. Если вам хотелось отомстить, вы могли хотя бы...
- Как я с вами поступила? Это же вы обманули меня.
- О-о, бога ради, давайте уж хоть сейчас обойдемся без этих штук. Если я вам неинтересен, куда порядочней сказать мне правду. Я вымок до нитки на этом проклятом углу. Мой костюм и до сих пор еще не просох.
- Как это вымокли до нитки? Почему?
- Да очень просто! Под дождем! — отрезал я. — Что в этом удивительного?
- Под каким дождем? — изумленно спросила Пэтси.
- Бросьте дурачиться. Под тем самым дождем, который льет весь день. Он и сейчас хлещет.
- Мне кажется, что вы сошли с ума, — испуганно сказала Пэтси. — Сегодня ясный, совершенно безоблачный день и солнце светит с самого утра.
- Здесь, в городе?
- Конечно.
- И вы видите безоблачное небо из окна своей конторы?
- Разумеется.
- Солнце светило весь день на Тридцать седьмой и на Пятой?
- На каких Тридцать седьмой и Пятой?
- На тех самых, что пересекаются там, где стоит старое здание Тиффани, — сказал я раздраженно. — Вы ведь около него работаете, сразу за углом.
- Вы меня пугаете, — сказала Пэтси шепотом. — Нам... давайте лучше кончим этот разговор.
- Почему? Что вам еще не слава богу?
- Так ведь старое здание Тиффани на Пятьдесят седьмой и Пятой.

— Здравствуйте! Там новое.

— Да нет же, старое. Вы разве забыли, что в сорок пятом году им пришлось переехать на новое место?

— На новое место?

— Конечно. Из-за радиации дом нельзя было отстроить на прежнем месте.

— Из-за какой еще радиации? Что вы тут мне...

— Там ведь упала бомба.

Я вдруг почувствовал, что по моей спине пробежал холодок, и не потому, что я простыл под дождем.

— Пэтси,— сказал я медленно.— Все это очень серьезно. Боюсь, что перепуталось нечто поважнее телефонных проводов. Назовите мне ваш телефонный индекс. Номер не нужен, только индекс.

— Америка 5.

Я просмотрел список индексов, вывешенный в телефонной кабине: ААкадемия 2, АДирондак 4, АЛгонкин 4, АЛгонкин 5, АТуотер 9... АМерики 5 там не было.

— Это здесь, в Манхэттене?

— Ну, конечно. А где же еще?

— В Бронксе,— сказал я.— Или в Бруклине. Или в Куинсе.

— По-вашему, я стала бы жить в оккупационных лагерях?

У меня перехватило дыхание.

— Пэтси, милая, скажите, как ваша фамилия? Мне кажется, мы с вами оказались в совершенно фантастических обстоятельствах, и, пожалуй, нам лучше не скрытничать друг с другом. Я — Говард Кэмпбелл.

Пэтси ойкнула.

— Как ваша фамилия, Пэтси?

— Симабара,— сказала она.

— Вы японка?

— Да. А вы янки?

— Совершенно верно. Вы родились в Нью-Йорке?

— Нет. Наша семья приехала сюда в сорок пятом... с оккупационными войсками.

— Понятно. Значит, мы проиграли войну... там, где находитесь вы.

— Ну конечно. Это исторический факт. Но, Говард, я же

здесь, я здесь, в Нью-Йорке. Сейчас тысяча девятьсот пятьдесят четвертый год. Сейчас...

— Все это так, и вы находитесь в Нью-Йорке... только у вас светит солнце, и вы сбросили на нас атомную бомбу, разбили нас и оккупировали Америку.— Я истерически расхохотался.— Мы с вами на разных временных дорогах, Пэтси. И ваша история — не моя. Мы в различных мирах.

— Я вас не понимаю.

— Неужели? Вот послушайте: каждый раз, когда мир в своем движении достигает какой-то развилки, он расщепляется. Идет обоими путями. И эти миры сосуществуют. Вы никогда не пытались представить себе, что случилось бы с миром, если бы Колумб не открыл Америку? А он ведь где-то существует, этот мир, в котором не было открытия Колумба, существует параллельно с тем миром, где Америка открыта. И не он один, тысячи разных миров существуют бок о бок. Вы из другого мира, Пэтси. Но телефонные провода двух различных миров случайно перехлестнулись. И я пытаюсь назначить свидание девушке, которая не существует... для меня.

— Но, Говард...

— Наши миры параллельны, но они различны. У нас разные индексы телефонов, погода, исход войны. И в вашем мире и в моем есть Рокфеллер Плаза, и вы, и я стояли там сегодня в час дня, но как безумно далеки мы друг от друга, Пэтси, милая, как непреодолимо далеки...

В этот момент к нам подключилась телефонистка и сказала:

— Сэр, ваше время истекло. Будьте добры уплатить пять центов за следующие пять минут.

Я поискал в кармане мелочь.

— Вы еще здесь, Пэтси?

— Да, Говард.

— У меня нет мелочи. Скажите телефонистке, чтобы она позволила нам продолжить разговор в кредит. Нам нельзя вешать трубки. Мы можем навсегда разъединиться. Мы ведь чиним линию здесь, а вы там, у себя, и рано или поздно наши провода распутают. Тогда мы навсегда будем отрезаны друг от друга. Скажите ей, чтобы позволила нам говорить в кредит.

— Простите, сэр,— произнесла телефонистка,— но мы

так никогда не делаем. Лучше повесьте трубку и позвоните еще раз.

— Пэтси, звоните мне, звоните, хорошо? Позвоните Джениет. Я сейчас вернусь в контору и буду ждать звонка.

— Ваше время истекло, сэр.

— Пэтси, какая вы? Опишите себя. Скорее, милая. Я...

Телефон молчал как мертвый. С грохотом скатились в лунку опущенные перед разговором медяшки.

Я вернулся в контору и ждал до восьми часов. Пэтси не позвонила мне или не смогла дозвониться. Я целую неделю просидел у телефона, отвечая вместо секретарши на все звонки. Но Пэтси ни разу не соединили со мной. Где-то, может быть, в ее, а может, в моем мире починили перепутанные провода.

Я не мог забыть Пэтси. Не мог изгнать воспоминание о ее милом, нежном голоске. И потому не мог и рассказать о ней. Никому. Я бы и вам не рассказал, если бы не влюбился как безумный в фигуристку, которая под музыку разъезжает по льду на Рокфеллер Плаза. Что за ножки!

Рэй Брэдбери

Мессия

— Мы все грезили об этом в молодости,— сказал епископ Келли.

Остальные за столом забормотали одобрительно, закивали.

— Не было мальчика-христианина, который однажды ночью не подумал бы: «А не я ли — Он? Не Второе ли это Пришествие наконец-то и не я ли Пришедший? Что, что, о, что, боже милостивый, если окажется, что я Иисус? Вот будет здорово!»

Католические священники, протестантские проповедники и один раввин негромко засмеялись, вспоминая каждый свое детство, свои безумные фантазии и какими невероятно глупыми были они тогда.

— А еврейские мальчики,— спросил молодой священник отец Нивен,— представляют себя, насколько я понимаю, Моисеем?

— Нет, нет, мой дорогой друг,— сказал рабби Ниттлер.— Мессией! Мессией!

Снова тихий смех.

— Ну конечно,— сказал отец Нивен, чье свежее лицо было сливочно-розовым,— какую чушь я сморозил! Как же я не подумал? Ведь Христос не был для евреев Мессией, не так ли? И ваш народ до сих пор ждет, чтобы Мессия пришел. Странно. О, как все расходится!

— И ничто так, как это,— сказал епископ Келли.

И, встав, повел всех на террасу, откуда открывался вид на холмы Марса, на древние марсианские города, на старые шоссе, на русла рек, полные пыли, и на Землю, которая, в шестидесяти миллионах миль отсюда, ярким огоньком сияла в этом чужом небе.

— Разве могли мы в самых безумных своих мечтах вообразить,— сказал преподобный Смит,— что наступит день, когда здесь, на Марсе, будут Баптистский Молельный Дом, Капелла Святой Марии, Синагога Горы Синай?

Тихие «нет, не могли» были ответом на его вопрос.

Нарушив тишину, возник новый голос. Пока они стояли у балюстрады, отец Нивен, чтобы проверить часы, включил свой транзистор. Из маленького поселка неподалеку в пустыне передавали новости. Все стали слушать.

— ...как утверждают, недалеко от поселка. Это первый марсианин, обнаруженный в наших местах в нынешнем году. Убедительно просим относиться ко всем визитерам такого рода с уважением. Если же...

Отец Нивен выключил приемник.

— Ох уж эта неуловимая конгрегация! — вздохнул преподаватель Смит. — Должен признаться, я прилетел на Марс не только ради христиан с Земли, но надеюсь также пригласить хотя бы одного марсианина поужинать со мной как-нибудь в воскресенье и узнать от него о его верованиях, нуждах.

— Они еще не решили, как к нам относиться, — сказал отец Липскомб. — Примерно через год, я думаю, они поймут, что мы не охотники на бизонов и шкуры нам не нужны. И все же, надо признаться, держать в узде свое любопытство нелегко. В конце концов, судя по фотографиям, полученным нами от наших «Маринеров», никаких форм жизни на Марсе быть не должно. Но оказалось, что одна есть, непонятная и во многом сходная с человеком.

— Во многом, ваше преосвященство? — И раввин замер над своим кофе. — У меня чувство, что человеческого в них больше, чем в нас. Они ведь дали нам возможность здесь жить. Спрятались среди холмов, нам, как мы можем догадаться, показываются только изредка и всегда в обличье землян...

— Значит, вы тоже верите, что они могут читать мысли телепатически и могут гипнотизировать, и это им позволяет разгуливать по нашим поселениям и дурачить нас своими обличьями и искусственно вызываемыми видениями, и мы их не можем разоблачить?

— Да, я в это верю.

— Тогда сегодняшний вечер, — сказал епископ, раздавая рюмки с мятным ликером и коньяком, — воистину вечер разочарований. Марсиане ни за что не хотят показаться и позволить нам, причастным истинной вере, указать им путь к спасению...

Все заулыбались.

— ...а Второе Пришествие Христа будет, судя по всему, не раньше чем через несколько тысяч лет. Как долго ждать нам, людям, о Господи?

— Что до меня,— сказал молодой отец Нивен,— то я никогда не мечтал о том, чтобы быть Христом, его Вторым Пришествием. Я только всегда хотел, и хотел всем сердцем, его увидеть. С восьми лет не перестаю об этом мечтать. Вполне возможно, это главная причина, почему я стал священником.

— Чтобы, если он и в самом деле придет когда-нибудь снова, о вас на небесах уже знали? — добродушно посмеиваясь, предположил рабби.

Молодой священник широко улыбнулся и кивнул. Каждому вдруг захотелось протянуть руку и к нему прикоснуться, ибо он прикоснулся к какому-то маленькому, нежному нерву в каждом из них. Каждого из них переполняла сейчас любовь ко всему существу.

— С вашего разрешения, джентльмены,— сказал, поднимая бокал, епископ Келли,— выпьем — кто за пришествие Мессии, кто за Второе Пришествие Христа. Да окажется то и другое чем-то большим, нежели глупые, незапамятно древние мечты!

Выпив каждый за свое, они притихли.

Епископ высморкался и вытер глаза.

Потом все было так, как в большинство других вечеров. Священнослужители уселись за карты и заспорили о святом Фоме Аквинском, но христиане потерпели поражение, когда столкнулись с логикой и эрудицией рабби Ниттлера. Они называли его иезуитом, выпили по стаканчику на сон грядущий и, перед тем как разойтись, решили послушать последние новости по радио:

— ...опасаются, что марсианин, оказавшись среди нас, возможно, чувствует себя как бы пойманным в ловушку. Чтобы он мог безбоязненно пройти мимо, при встрече с ним следует отвернуться. Похоже, что движет им любопытство. Оснований для беспокойства нет. На этом передача...

Священнослужители уходили, обсуждая свои переводы на разные языки текстов из Нового и Ветхого заветов. И тут молодой отец Нивен всех удивил:

— А известно ли вам, что меня однажды попросили написать сценарий по Евангелиям? Фильму, видите ли, не хватало конца!

— Но разве не один,— запротестовал епископ,— конец у жизни Иисуса?

— И все же четыре Евангелия, ваше преосвященство, дают четыре версии. Я их все сравнил. И взволновался. Почему? Да потому, что заново открыл для себя нечто, о чем уже почти позабыл. Тайная вечеря на самом деле не последняя совместная трапеза Христа и учеников!

— Боже милостивый, если не последняя, то какая же?

— Какая? Первая из нескольких, ваше преосвященство. Первая из нескольких! Разве не было такого, когда Иисуса уже сняли с креста и погребли, что Симон Петр ловил вместе с другими учениками рыбу в море Галилейском?

— Было.

— И не были разве их сети чудесным образом наполнены рыбой?

— Были.

— А когда они увидели на берегу Галилейском бледный свет, разве не сошли они на берег и не нашли там раскаленные добела угли, а на углях только что пойманную рыбу?

— Да, как же, да,— сказал преподобный Смит.

— И разве не почувствовали они там, за мягким светом раскаленных углей, Присутствие, и не воззвали к нему?

— Воззвали.

— Не получив ответа, не прошептал разве снова Симон Петр: «Кто это там?» И неузнанный Дух на берегу Галилейском протянул руку в свет от углей, и на ладони той руки разве не увидели они след от вбитого гвоздя, стигматы, которые никогда не залечатся? Ученики хотели убежать, но Дух сказал Симону Петру: «Возьми эту рыбу и накорми своих братьев». И Симон Петр взял с углей рыбу и накормил учеников. И бестелесный Дух Иисуса сказал тогда: «Возьми мое слово и возвести всем народам, и проповедуй, чтобы прощали ближнего». А потом Иисус их покинул. И в моем сценарии Он уходит по берегу Галилейскому к горизонту. А когда кто-нибудь уходит к горизонту, то будто поднимается, правда? Потому что поднимается на расстоянии земля. И Он, идя по берегу, уменьшался и наконец превратился в маленькую точку где-то вдали. А потом и она ис-

чезла. И когда над миром Его дней встало солнце, всю тысячу Его следов вдоль берега размели рассветные ветры, и следов как не бывало... И угли, догорая, разлетелись искрами, и ученики, ощущая во рту вкус Настоящей, Последней и Истинной Тайной Вечери, пошли прочь. И в моем сценарии КАМЕРА смотрит с высоты, как ученики уходят одни на север, другие на юг, третьи на восток рассказывать миру То, Что Должно Быть Рассказано о Неком Человеке. И их следы, расходящиеся во все стороны спицами огромного колеса, тоже замели песком ветры восхода. И был новый день. КОНЕЦ.

Молодой отец Нивен стоял, окруженный друзьями, глаза его были закрыты, щеки пылали. Внезапно он открыл глаза, как будто очнувшись:

— Простите меня.

— За что простить? — воскликнул епископ, проводя по ресницам тыльной стороной ладони, часто моргая. — За то, что в один вечер я два раза плакал? Разве можно стесняться своей любви к Христу? Да ведь вы же вернули Слово мне, мне! — который, казалось, знает его уже тысячу лет! Вы освежили мне душу, о добрый молодой человек с детским сердцем! Вкушение рыбы на берегу Галилейском — это и вправду истинная Тайная Вечеря. Bravo! Вы заслужили встречи с Ним. Второе Пришествие должно произойти хотя бы ради вас одного!

— Я недостойн!

— Как и мы все! Но если бы можно было меняться душами, я бы сию же минуту, пусть на время, поменял бы свою на вашу, светлую, чистую. Может быть, еще один тост, джентльмены? За отца Нивена!

Все выпили за отца Нивена и потом разошлись; раввин и проповедники пошли вниз с холма к своим храмам, а католические священники постояли еще минутку у открытой двери, разглядывая незнакомый мир Марса, обдуваемый холодным ветром.

Наступила полночь, потом один час, два, а в три часа бездонного холодного марсианского утра отец Нивен заворочался. Невнятно шепча, заплесало пламя свечей. Прижавшись к окну, глухо застучали листья.

Внезапно очнувшись от сновидения, где кричала

толпа и кто-то за кем-то гнался, он рывком сел в постели. Прислушался.

На нижнем этаже хлопнула наружная дверь.

Накинув халат, отец Нивен спустился по полутемной лестнице своего прицерковного жилища и прошел через церковь, где вокруг каждой из дюжины свечей, горевших одна здесь, другая там, разливалась маленькая лужица света.

Обходя одну за другой двери, он думал: «Какая это глупость — запирать церкви! Что в них красть?» Но все-таки шел дальше, крадучись, сквозь спящую ночь.

И вдруг увидел, что передняя дверь церкви отперта и ветер, мягко толкая, то и дело приоткрывает ее внутрь.

Поеживаясь от холода, отец Нивен закрыл ее.

В церкви кто-то пробежал на цыпочках.

Отец Нивен молниеносно повернулся.

В церкви никого не было. То в одну, то в другую сторону покачивались огоньки свечей в нишах. Ничего, кроме древнего запаха воска и ладана, непроданных их остатков со всех базаров времени и истории, других солнц и других полудней.

Он окинул взглядом распятие над главным алтарем и вдруг замер.

Он услышал в ночи, как упала капля воды, одна-единственная.

Медленно-медленно отец Нивен повернул голову и посмотрел в сторону баптистерия.

Свечей там не было, и однако...

Из глубокой ниши, где стояла купель, исходил бледный свет.

— Епископ Келли, это вы? — тихо спросил отец Нивен.

Он медленно пошел туда по проходу, но вдруг остановился, будто его сковал мороз...

Потому что еще одна капля упала, ударилась, перестала существовать.

Как если бы где-то капало из крана. Но ведь никаких кранов здесь не было. Не было ничего, кроме купели, куда капля за каплей падала сейчас какая-то густая

жидкость, и между каждыми двумя каплями сердце отца Нивена успевало ударить три раза.

Недоступным слуху языком сердце что-то себе сказало и понеслось во весь опор, потом замедлило ход, и отцу Нивену почудилось, что оно вот-вот остановится. Он покрылся потом. Почувствовал, что не может сдвинуться с места, но двигаться было нужно; сначала одна нога, за ней другая — и вот наконец он добрался до сводчатого входа в баптистерий.

И правда, в этой комнатке, в которой должен был царить мрак, что-то бледно светилось.

Не свеча, нет. Источником света была фигура.

Фигура стояла за купелью. Капли больше не падали.

Язык у отца Нивена прилип к нёбу, глаза полезли на лоб и перестали что-либо видеть. Потом зрение вернулось, и он набрался духу крикнуть:

— Кто?

Одно-единственное слово — и оно эхом отдалось во всех закоулках церкви, от него задрожали огоньки свечей, поднялась пахнувшая ладаном пыль, и собственное сердце отца Нивена испугалось отзвука: «Кто?»

Свет в баптистерии исходил от бледного одеяния фигуры, стоявшей лицом к отцу Нивену. И этого света было достаточно, чтобы отец Нивен смог увидеть невероятное.

Отец Нивен смотрел во все глаза, и вдруг фигура шевельнулась. Она протянула вперед, будто положив ее на воздух, бледную руку.

Рука лежала как что-то отдельное от Духа по ту сторону купели, будто она противилась, но зачарованный и страшный взгляд отца Нивена схватил ее и потащил к себе, ближе, чтобы узнать, что в середине ее открытой белой ладони.

А в середине была видна рана с рваными краями, отверстие, из которого медленно одна за другой падали капли крови, падали и падали медленно вниз, в купель.

Капли ударялись о святую воду, окрашивали ее и расходились медленными кругами во все стороны.

Рука то появлялась, то исчезала перед глазами

отца Нивена, и длилось это несколько исполненных растерянности секунд.

Задохнувшись в стоне то ли изумления, то ли отчаяния, одной рукой прикрывая глаза, а другой словно отстраняя от себя видение, отец Нивен, будто пораженный страшным ударом, рухнул на колени.

— Нет, нет, нет, нет, нет, *этого не может быть!*

Словно какой-то страшный дантист одним рывком и без анестезии вытащил у него вместо зуба сочащуюся кровью душу. Он был вскрыт, жизнь из него вырвана, а корни, о боже, корни... так глубоки!

— Нет, нет, нет, нет!

И однако — да.

Он взглянул сквозь кружево пальцев снова.

И Человек был на том же месте.

И страшная кровоточащая ладонь дрожала, роняя капли, в воздухе баптистерия.

— Не надо больше!

Рука отделилась, исчезла. Дух стоял и ждал.

И лицо Духа было доброе и знакомое. Эти странные, прекрасные, глубокие, пронизывающие насквозь глаза были такими, какими, он знал, они должны были быть. Рот был мягок, и бледно было лицо в обрамлении ниспадающих волос и бороды. Облачен Человек был в простые одежды, видевшие берега моря Галилейского и пустыню.

Огромным усилием воли отец Нивен удержался от слез, подавил муки удивления, сомнений, растерянности, всего того, что, грозя вырваться наружу, ворочалось и бунтовало внутри. Его била дрожь.

И тут он увидел, что Фигура, Дух, Человек, Кто Бы Это Ни Был, дрожит тоже.

«Нет,— подумал отец Нивен,— с Ним такого быть не может! Чтобы Он боялся? Боялся... меня?»

А теперь и Дух сотрясся в страшных муках, они были как зеркальное отражение сотрясенности отца Нивена; рот видения широко открылся, глаза закрылись, и оно простонало жалобно:

— Умоляю, отпусти меня!

Отец Нивен ойкнул, и его глаза открылись еще шире. «Но ведь ты свободен,— подумал он.— Никто тебя

здесь не держит!»

И в тот же миг:

— Держит! — воскликнуло Видение.— Меня держишь ты! Умоляю! Отврати свой взгляд! Чем больше ты смотришь на меня, тем больше я становлюсь *этим*! Я не то, чем кажусь!

«Но,— подумал отец Нивен,— ведь я не сказал ни слова! Мои губы не шевельнулись ни разу! Откуда этот Дух знает, о чем я думаю?»

— Я знаю все твои мысли,— сказало Видение, дрожащее, бледное, отодвигаясь в темноту баптистерия.— Каждую фразу, каждое слово. Я не собирался сюда приходить. Решил просто заглянуть в городок. И вдруг оказался разным для разных людей. Побежал. Люди погнались за мной. Я увидел открытую дверь. Вбежал. А потом, а потом... получилось, что я в ловушке.

«Это неправда»,— подумал отец Нивен.

— Нет, правда,— простонал Дух.— И поймал меня в эту ловушку ты.

Стеная под бременем услышанного, отец Нивен ухватился руками за край купели и медленно встал, покачиваясь, на ноги. И наконец, набравшись духу, выдавил из себя вопрос:

— На самом деле ты не тот... кого я вижу?

— Не тот. Прости меня.

«Я,— подумал отец Нивен,— схожу с ума».

— Не сходи,— сказал Дух,— иначе я тоже стану безумным.

— Я не могу отказаться от Тебя, о Боже, теперь, когда Ты здесь, ведь столько лет ждал я, столько мечтал — неужели Ты не понимаешь, Ты просишь слишком многого. Две тысячи лет бесчисленные множества людей дожидаются Твоего возвращения. И это я, я встретился с Тобой, увидел Тебя...

— Ты встретился лишь со своей мечтой. Увидел то, что увидеть жаждал. За этим... — фигура дотронулась до своего одеяния,— совсем другое существо.

— Что мне *делать*, Боже? — закричал отец Нивен; взгляд его метался между потолком и Духом, задрожавшим от его крика.— *Что?*

— Отведи от меня взгляд. В то же мгновение я

окажусь за дверью и исчезну.

— И... это все?

— Очень прошу тебя,— сказал Человек.

Отца Нивена затрясло, дыхание его стало прерывистым.

— О, если б это продлилось хотя бы час!

— Ты бы хотел убить меня?

— О нет!

— Если ты будешь удерживать меня в этом облике, я скоро умру, и моя смерть будет на твоей совести.

Отец Нивен поднес ко рту сжатые в кулак пальцы и впился в них зубами; судорога тоски свела его кости.

— Значит... значит, ты марсианин?

— Не более того. Не менее.

— И это случилось с тобой из-за моих мыслей?

— Ты не нарочно. Когда ты вошел сюда, твоя давнишняя мечта схватила меня крепко-крепко и придала мне новый облик. Мои ладони до сих пор кровоточат от ран, которые ты нанес мне из потаенных глубин твоей души.

Отец Нивен потряс головой, он был как в тумане.

— Еще хоть немножко... подожди...

Он смотрел неотрывно и не мог наглядеться на фигуру, от которой исходил бледный свет.

Потом отец Нивен кивнул, и такая печаль переполняла его, будто он меньше часа назад вернулся к себе с настоящей Голгофы. Но вот уже прошел час. И на песке у моря Галилейского гасли угли.

— Если... если я отпущу тебя...

— Ты должен, обязательно должен!

— Если отпущу, обещаешь...

— Что?

— Обещаешь снова прийти?

— Прийти?

— Раз в год, о большем я не прошу, раз в год приходи сюда, к этой купели, в это же самое время...

— Приходить?..

— Обещай! О, мне обязательно нужно, чтобы это повторилось. Ты не знаешь, как это для меня важно! Обещай, иначе я не отпущу тебя!

— Я...

— Дай обещание! Поклянись!

— Обещаю. Клянусь.

— Благодарю тебя, благодарю!

— В какой день через год я должен буду вернуться?

По щекам отца Нивена катились слезы. Только с большим трудом вспомнил он, что собирался сказать, а когда заговорил, то с трудом мог себя расслышать:

— На Пасху, о Боже, да, на Пасху в следующем году!

— Очень прошу тебя, не плачь. Я приду. На Пасху, ты говоришь, на Пасху? Я знаю ваш календарь. Приду обязательно. А теперь...— Бледная рука с раной на ладони шевельнулась в воздухе, умоляя безмолвно.— Я могу уйти?

Отец Нивен сцепил зубы, чтобы не дать вырваться наружу воплю отчаянья.

— Благослови меня и иди,— сказал он.

— Вот так? — спросил голос.

И рука протянулась и коснулась его, легко-легко.

— Скорей! — крикнул отец Нивен, зажмурившись, изо всех сил прижимая к груди сжатые в кулаки руки, чтобы они не протянулись, не схватили.— Уходи скорей, пока я не оставил тебя здесь навсегда. Беги. Беги!

Бледная рука коснулась его лба. Тихий и глухой звук убегающих босых ног.

Отворилась дверь, открыв звезды, потом захлопнулась.

И эхо долго носилось по церкви, ударяясь об алтари, залетая в ниши, будто металась бестолково, пока не нашла выход в вершине свода, какая-то заблудившаяся одинокая птица. Наконец церковь перестала дрожать, и отец Нивен положил руки себе на грудь, словно говоря этим, как вести себя, как дышать, как стоять неподвижно, прямо, как успокоиться...

Потом он пошел неверными шагами к двери и схватился за ручку, обуреваемый желанием распахнуть ее, посмотреть на дорогу, на которой сейчас, наверное, никого уже нет — только вдалеке, быть может, убегает фигурка в белом. Он так и не открыл дверь.

Отец Нивен пошел по церкви, заканчивая ритуал запиранья, радуясь, что есть дела, которые нужно сделать. Обход дверей длился долго. И долго было ждать следующей Пасхи.

Он остановился у купели и увидел, что вода в ней чистая. Зачерпнул рукой и освежил лоб, виски, щеки и глаза.

Потом прошел медленными шагами по главному проходу и упал ниц перед алтарем и, дав себе волю, разрыдался. Услышал, как голос его горя поднимается ввысь и из башни, где безмолвствует колокол, падает в муках вниз.

А рыдал он о многом.

О себе.

О Человеке, что был здесь совсем недавно.

О долгом времени, которое пройдет, прежде чем снова откатят камень и увидят, что могила пуста.

О времени, когда Симон Петр снова увидит здесь Духа, и он, отец Нивен, будет Симоном Петром.

А больше всего рыдал он потому, о, потому, потому... что никогда в жизни он не сможет никому рассказать об этой ночи...

Мюррей Лейнстер

Из четвертого измерения

Пит Дэвидсон был обручен с Дейзи Мэннерс, которая выступала в ревю «Зеленый Рай». Он только что стал наследником своего единственного дядюшки, всемирно признанного физика, авторитета во всем, что касается четвертого измерения. Кроме того, Пит стал большим другом дядюшкина необычайно милого гигантского кенгуру по имени Артур. И все же он не обрел истинного счастья. Это выяснилось в то самое знаменательное утро.

Сидя в лаборатории своего дядюшки, Пит старательно вел подсчеты на бумажке. Когда он подвел итог, ему оставалось только в отчаянии взъерошить волосы. Потом он начал делить и умножать. Однако результат оставался таким же запутанным и невероятным, как формулы его покойного родственничка с его четвертым измерением.

Время от времени в дверь заглядывала подобострастная лошадиная физиономия. Это был Томас, верный слуга его дядюшки. Пит опасался, что унаследовал его вместе со всем остальным имуществом.

— Прошу прощения, сэр, — нерешительно сказал Томас. Взъерошенный Пит откинулся на спинку кресла.

— Что там у вас, Томас? Что еще выкинул Артур?

— Он ошипывает последние георгины в саду, сэр. Я бы хотел узнать у вас, сэр, насчет ланча. Что вам приготовить?

— Что хотите! — ответил Пит. — Все, что вам придет в голову! А впрочем, нет. Чтобы разобраться в делах моего дядюшки Роберта, нужны нормальные мозги. Поэтому дайте мне что-нибудь с большим содержанием фосфора и витаминов. Я в этом очень нуждаюсь!

— Да, сэр, — сказал Томас. — Однако лавочник, сэр...

— Опять? — беспомощно спросил Пит.

— Да, сэр, — сказал Томас, входя в лабораторию. — Я надеялся, что дела пойдут лучше.

Пит покачал головой, с отчаянием глядя на свои подсчеты.

— Лучше не будет,— сказал он.— Заплатить долги лавочнику — далекая и туманная мечта. Это ужасно, Томас! Мне казалось, мой дядя купается в золоте, и я думал, что четвертое измерение — это математический казус, а не полнейшее мотовство. Но по всей видимости, мой дядя Роберт устраивал какие-то немыслимые оргии с квантами и пространственно-временными перемещениями! Мне от него не осталось в наследство ничего, если не считать долгов!

Томас что-то хрюкнул, видимо выражая соболезнование.

— Я бы один еще это выдержал,— мрачно продолжал Пит.— Даже Артур с его простецким кенгуриным сердцем смог бы это выдержать, да будет он здоров и благополучен. Но Дейзи! Вот в чем загвоздка! Дейзи!

— Дейзи, сэр?

— Моя невеста,— пояснил Пит.— Она танцует в шоу «Зеленый Рай». Прыгает — как кенгуру. Я сказал Дейзи, что получил в наследство целое состояние. И как же она будет разочарована!

— Весьма печально, сэр,— сказал Томас.

— Ваше замечание, Томас, всего лишь юмористическое преувеличение. Дейзи не такая, чтобы легко переживать разочарования. Когда я ей попытаюсь объяснить, что все состояние моего дядюшки улетело в четвертое измерение, Дейзи перестанет меня слушать и притворится круглой дурочкой. Вам когда-нибудь приходилось любить девушку, которая притворяется дурочкой?

— Нет, сэр. Но как же насчет ланча?

— За ланч еще надо заплатить,— сказал угрюмо Пит.— Черт побери! Во всех моих карманах не больше сорока центов, Томас. И Артура нельзя бросить, чтобы он не подох с голоду. Дейзи это не очень-то понравится. Ну ладно, посмотрим, что еще нам досталось!

Он встал из-за стола и обвел лабораторию хищным взглядом. Комната была не очень-то уютной. В середине ее возвышалось сооружение из железных прутьев высотой около четырех футов. Томас сказал, что это тессеракт — модель куба, который существует в четырех измерениях, а не в трех.

Питу он показался скорее средневековым орудием пытки, которое употреблялось в последнем теологическом споре с еретиками. И Пит подумал, что из всех, кто по-настояще-

му заслуживал такой чести, первым был бы его дядюшка.

Были тут и другие приборы разной величины, но в основном в разобранном виде. Похоже было, что кто-то израсходовал огромное количество времени, терпения и денег, чтобы создать нечто совершенно ни на что не годное.

— Да, тут поживиться нечем,— удрученно сказал Пит.— Из этого не сделаешь даже гармошку, чтобы Артур плясал под нее на площадях.

— Но еще есть демонстратор четвертого измерения,— с надеждой сказал Томас.— Ваш дядя отладил его, сэр, и он работал, и это было чудесно, сэр.

— Великолепно! — воскликнул Пит.— А что это такое, демонстратор? И что он может делать?

— О, сэр, он демонстрирует, то есть воспроизводит вещи из четвертого измерения. Это работа всей жизни вашего дяди, сэр,— сказал Томас.

— Ну что ж, посмотрим на результат всей его жизни,— сказал Пит.— Может быть, и нам удастся заработать на жизнь, показывая его четырехпространственный демонстратор в витринах универмагов. Но я очень сомневаюсь, чтобы моей Дейзи приглянулась такая карьера.

Томас торжественно подошел к занавесу, который отделял часть комнаты. Пит думал, что там стоит какой-то шкаф. Томас отвернул занавес, и за ним оказалось нечто вроде чудовищного переплетения проводов, единственное назначение которого было, по-видимому, доказать, что это невероятно сложное сооружение. В середине этого сооружения Пит увидел несколько огромных поставленных вертикально подков высотой больше семи футов. Между ними находился стеклянный диск толщиной более дюйма, который, видимо, мог вращаться. А под диском была фундаментальная массивная плита, к которой подходили толстые медные трубы от охлаждающей установки в углу лаборатории.

Томас включил аппарат, послышался глухой низкий звук. Пит смотрел и молчал.

— Ваш дядя все время говорил сам с собой, сэр,— сказал Томас.— Я догадывался, что он достиг величайшего научного успеха. Видите ли, сэр, четвертое измерение — это время.

— Я ужасно рад, что вы все это объяснили так просто,— сказал Пит.

— Да, сэр. Насколько я понял, сэр, если бы кто-нибудь пригласил хорошенькую девушку, и если бы эта девушка должна была наступить на банановую кожуру и поскользнуться, и если бы этот кто-нибудь пожелал, чтобы все это случилось на две минуты раньше или бы они были от этой банановой кожуры за сто ярдов...

— Хорошенькая девушка по всем законам природы все равно бы наступила на банановую кожуру и шлепнулась, несмотря на все его пожелания, по всем законам природы,— заключил Пит.

— Да, сэр,— сказал Томас.— Но демонстратор разрешает все проблемы, с его помощью удалось бы удалиться от места встречи с юной леди не только в пространстве, но и во времени, иначе было бы слишком поздно. Проще говоря, ему удалось бы отступить на ярд и еще на две минуты назад. Вот ваш дядюшка, сэр, и построил этот демонстратор...

— Чтобы с честью выйти из подобной ситуации, если она возникнет,— закончил за него Пит.— Превосходно! Однако боюсь, что это не решит наших финансовых проблем.

Охлаждающее устройство перестало гудеть. Томас торжественно зажег спичку.

— Надеюсь, мне будет позволено закончить демонстрацию, сэр,— сказал он с надеждой.— Видите, я зажигаю эту спичку и кладу на стеклянный диск между концами подковы. Температура нормальная, значит, все должно работать.

Из недр машины послышалось удовлетворенное похрюкивание. Так продолжалось несколько секунд. Затем массивный стеклянный диск внезапно повернулся примерно на одну восьмую оборота. Опять что-то загудело. Звук оборвался. И так же внезапно на стеклянном диске появилась еще одна потухшая спичка. Машина торжествуя что-то забормотала.

— Вы видите, сэр? — спросил Томас.— Она создала другую обгорелую спичку. Извлекла ее в настоящее из прошлого, сэр. Здесь, на этом вот месте лежала обгорелая спичка, пока стеклянный диск не повернулся на несколько секунд назад. Это как с девушкой и банановой кожурой, сэр. Машина вернулась к тому месту, где лежала первая спичка, а потом вернулась к тому мгновению, где была первоначаль-

но спичка, и наконец перенесла ее вперед, в настоящее.

Диск повернулся еще на одну восьмую оборота. Аппарат побряхтывал и гудел. Гудение прекратилось. На стеклянном диске лежала третья обгорелая спичка. Гудение и побряхтывание возобновились.

— И так он может продолжать до бесконечности, сэр, — с радостью сказал Томас.

— Похоже, я начинаю постигать истинное величие науки, — сказал Пит. — Всего-навсего с помощью двух тонн проводов и стали и всего лишь за какие-то двести тысяч долларов, не считая усилий всей его жизни, дядюшка Роберт оставил мне в наследство машину, которая обеспечит меня обгорелыми спичками навсегда! Томас, этот аппарат — непревзойденный научный шедевр!

Томас просиял.

— Великолепно, не правда ли, сэр? Я рад, что вы его оценили. Но как быть с ланчем, сэр?

Машина, погудев и пощелкав, как ей полагалось, воспроизвела четвертую обгорелую спичку и загудела еще более торжественно. Она готовилась снова выудить такую же спичку из еще более далекого времени.

Пит осуждающе посмотрел на слугу, который тоже, по видимому, был завещан ему дядей Робертом. Пит сунул руку в карман и вытащил свои сорок центов. Тут машина снова загудела. Пит вздрогнул, взглянул на нее и покачал головой.

— Если уж говорить о науке, — сказал он мгновение спустя. — У меня тут возникла одна чисто финансовая мысль. Горю желанием проверить ее.

Он посмотрел на чудовищный гудящий демонстратор четвертого измерения.

— Удались отсюда минут на десять, Томас. У меня есть важное дело!

Томас исчез. Пит повернулся к демонстратору.

Сначала он рискнул самой мелкой монеткой, пятицентником, решительно положив его на стеклянный диск. Машина заработала. Она защелкала, загудела, смолкла, и на пластине толщиной в дюйм оказалось два пятицентника. Ко второму пятицентнику Пит добавил десятицентник. К концу следующего цикла он отчаянно взъерошил волосы и добавил к кучке монет все, что у него оставалось — последние четверть доллара. Не веря своим глазам, он смотрел на

результат операции. А потом начал удваивать суммы.

Минут десять спустя Томас деликатно постучался.

— Прошу прощения, сэр,— произнес он, на что-то еще надеясь,— я насчет ланча, сэр...

Пит выключил демонстратор.

— Томас,— сказал он как можно спокойнее.— Составьте сами меню для ланча. Возьмите корзинку с этой мелочью для размена и ступайте в магазин. Да, кстати, Томас, у вас нет каких-нибудь денег покрупнее четверти доллара? Пол-доллара? Это, пожалуй, сойдет. Мне бы хотелось показать Дейзи что-нибудь впечатляющее, когда она придет.

Мисс Дейзи Мэннерс из мюзикла «Зеленый Рай» была именно той дамочкой, которая могла принять четырехмерный демонстратор без всяких там лишних вопросов и немедленно в полной мере воспользоваться результатами современных достижений передовой науки. Она поздоровалась с Питом рассеянно, зато очень заинтересованно осведомилась, сколько именно получил он в наследство. И Пит провел ее в лабораторию. Он снял чехол с демонстратора.

— Вот все мои драгоценности,— сказал Пит напыщенно.— Дорогуша, может быть, это тебя потрясет, но... нет ли у тебя четверти доллара?

— Ну и нахал же ты! — откликнулась Дейзи.— Спрашивать у меня денег! А может, ты вообще соврал о наследстве?

Пит нежно ей улыбнулся. Он достал из кармана собственный четвертак.

— Смотри, дорогая! Я сейчас кое-что сделаю только для тебя!

Он включил демонстратор и в самых общих чертах объяснил его действие, пока изнутри машины раздавалось гудение и пощелкивание. Стекланный диск повернулся, на нем появился второй четвертак, и Пит начал удваивать ставки, продолжая объяснять. Через несколько секунд появилось четыре монеты. Пит снова удвоил ставку. Теперь появилось восемь монет... шестнадцать, тридцать две, шестьдесят четыре, сто двадцать восемь... И тут столбик монет рассыпался: Пит выключил аппарат.

— Ты видела, дорогая? Все это из четвертого измерения, и все — для тебя! Дядюшка избобрел машину, я ее получил

в наследство. Хочешь, я разменяю твои банкноты на эту мелочь?

Теперь уже Дейзи вовсе не казалась рассеянной. Наоборот! Пит передал ей аккуратный столбик монет, она ему — пачку долларов.

— Теперь отныне и навсегда, дорогая, — сказал он радостно, — как только тебе понадобятся деньги, тебе стоит лишь прийти сюда, включить машину, и — дело в шляпе! Что может быть лучше?

— Я хочу денег сейчас, — сказала Дейзи. — Мне надо купить себе приданое.

— Я так и знал, что ты подумаешь об этом! — с восторгом воскликнул Пит. — Сейчас все будет! А пока денежки множатся, мы с тобой попируем...

Демонстратор начал пощелкивать и покряхтывать: теперь на его стеклянном диске множились банкноты вместо четвертаков. Один раз, для верности, аппарат сам приостановил работу, и охлаждающее устройство несколько минут озабоченно ворчало. Затем демонстратор снова заработал, самоуверенно выуживая дубликаты из ближайшего прошлого.

— У меня еще нет определенных планов, — объяснял Пит. — Я хотел сначала поговорить с тобой. Надо обо всем условиться. Я бы, например, присмотрел как следует за Артуром. Ты знаешь, он обожает сигареты. Он их жует, и, хотя это может показаться странным для кенгуру, ему они ничуть не вредят. Я использовал для него демонстратор: удваивал и удваивал пачки сигарет, и теперь у него ой-ой-ой какой запас, и все табак его любимого сорта. И еще я задумал открыть приличный счет в банке. Я подумал, что было бы странно и непонятно, если бы мы вдруг купили дом на Парк авеню и спокойноенько предложили в уплату кучу банкнотов. Нас заподозрили бы в ограблении банка!

— Глупости! — отрезала Дейзи.

— Что ты сказала?

— Ты мог удваивать эти доллары, как ты удваивал монеты, — сказала Дейзи. — И тогда у меня было бы гораздо больше долларов!

— Дорогая, — проникновенно сказал Пит, — какая разница, сколько долларов у тебя, если их сколько хочешь у меня?

— Да есть разница! — сказала Дейзи.— Ты можешь со мной поспорить.

— Никогда в жизни! — вскричал Пит. Затем добавил, малость подумав: — Пока мы не догадались, что можно удваивать банкноты, мы с Томасом засыпали целый угольный бункер монетами в четверть- и в полдоллара. И все они здесь, в подвале!

— Лучше всего были бы золотые монеты,— сказала Дейзи, напрягая до предела свои умственные возможности.— Если бы тебе удалось достать хоть одну! Ах, если бы!

— Ах, если бы! — повторил Пит.— Пстой-ка! У Томаса вроде бы была золотая пломба! Мы ее вытащим и будем умножать, пока она не станет весом в один фунт, ну, примерно. А потом переплавим ее в маленький слиток и опять положим в демонстратор. Дорогая моя, ты будешь просто поражена, когда заглянешь туда, где хранятся семейные ценности!

— А еще можно с драгоценными камнями,— задумчиво сказала Дейзи.— Так будет еще быстрее!

— Если ты так уж любишь драгоценности,— нежно сказал Пит,— у нас их будет полное мусорное ведро! Нам просто некуда будет их девать! Хорошо ты придумала...

— Знаешь, давай сразу поженимся! — с энтузиазмом сказала Дейзи.— Ты не против?

— Еще бы! Мы это в один момент! Сейчас я где-нибудь поймаю машину...

— Поймай, дорогуша! — воскликнула Дейзи.— А я пока присмотрю за этим, как его, демонстратором.

Сияя от восторга, Пит страстно поцеловал ее и ринулся из лаборатории. Внизу он позвонил в дверь Томаса. Позвонил еще раз. Тот ответил только на третий звонок. Томас был бледен как смерть.

— Прошу прощения, сэр,— сказал он, заикаясь.— Могу я собрать ваш чемодан?

— Я собираюсь жениться!.. А зачем собрать чемодан? Что стряслось?

— Нас сейчас арестуют, сэр,— сказал Томас. Он поперхнулся.— И я полагаю, сэр, что вы сами будете этому рады. Один знакомый в деревне, сэр, сказал мне, что там все считают нас самыми страшными врагами общественного порядка и в соответствии с этим собираются с нами раз-

делаться. Он сообщил мне об этой новости по телефону.

— Томас, вы случаем не выпили?

— Нет, сэр, — ответил Томас заупокойным тоном. — Еще не выпил. Но это превосходное предложение, благодарю вас, сэр. — И добавил с отчаянием: — Все дело в деньгах, сэр. В банкнотах. Если вы помните, сэр, мы никогда не меняли монеты на другие, а потом не меняли банкноты. И делали банкноты, один, два, четыре, восемь, шестнадцать...

— Ну, конечно! — воскликнул Пит. — Это нам и нужно было! А почему бы нет?

— Все дело в серийных номерах, сэр! Все долларové бумажки, которые производил демонстратор, имели один и тот же серийный номер — точно так же, как все пяти-, и десятидолларовые, и все прочие, сэр. Какой-то человек, с магией, что кругом одни фальшивомонетки, обнаружил вдруг у себя банкноты с одинаковым номером. Секретная финансовая служба проследила, откуда они появляются. Они напали на наш след. Они придут к нам, сэр. За это преступление полагается двадцать лет, сэр. Мой... мой друг из деревни спрашивает, согласны ли мы поделиться с ним и удрать, и если мы согласны, он согласен предупредить нас вовремя...

Томас заломил руки. Пит смотрел на него, медленно соображая.

— Значит, так, — сказал он задумчиво. — Значит, все эти банкноты фальшивые. Я и представить себе не мог. Придется нам, Томас, признаться, что мы виновны. И наверное, Дейзи не согласится выйти за меня, если я сяду в тюрьму. Пойду расскажу ей, какие вышли дела.

И тут он вздрогнул. Он услышал голос Дейзи, очень сердитый голос! Через мгновение шум усилился. Он превратился в непрерывную визгливую перебранку на очень высоких тонах. И становился все громче! Пит бросился в лабораторию. Он вбежал и остановился, потрясенный. Демонстратор все еще работал. Дейзи видела, как Пит укладывал банкноты на вращающийся стеклянный диск, видела, как он удваивал пачки для следующего оборота. И наверняка решила последовать его примеру. Одна последняя пачка долларов, видимо, рассыпалась, и Дейзи вскочила на стеклянный диск, чтобы ее поправить. И демонстратор включил Дейзи в свою программу.

Когда Пит вбежал в лабораторию, там было сначала три Дейзи. Он оцепенел от ужаса. Появилась четвертая Дейзи! Демонстратор пощелкивал и гудел, и в этих звуках слышалось нечто похожее на торжество. Он произвел пятую Дейзи. Пит бросился к приборному щиту, но не успел повернуть выключатель: демонстратор создал шестую копию Дейзи Мэннерс из мюзикла «Зеленый Рай». Она могла бы сыграть великолепный спектакль «Мэннерс — шесть — Мэннерс», но Пит, глядя на ушестеренную любовь своей души, был просто парализован.

Потому что все Дейзи были не только абсолютно идентичны внешне, так сказать с одним серийным номером, но обладали идентичными мнениями и убеждениями, что именно им — одной из них — принадлежат пачки долларов на стеклянном диске. И все они стремились схватить их. И все Дейзи яростно переругивались. И все Дейзи говорили друг другу о том, что они думают о себе вообще и в частности, и их мнение о самих себе — или о самой себе? — было далеко не лестным.

Артур, подобно Дейзи, имел счастливый характер. Он вовсе не походил на тех кенгуру, которые ожидают от окружающих одних неприятностей. Наоборот! Он мирно пасся на газоне, пощипывая листики герани, и время от времени заглядывал через шестифутовую изгородь в надежде, что на аллею выбежит какая-нибудь дура собака и залает на него. Или на худой конец вместо собаки появится прохожий и при виде его уронит сигарету, и тогда ему, Артуру, удастся подхватить и сжевать окурочек.

Первое время, когда он поселился здесь, те и другие приятнейшие события происходили довольно часто. Средний, ни о чем не подозревающий прохожий при виде выскакивающего на него кенгуру ростом в пять футов — зверя из Австралии, страны антиподов, — как правило, бросал все, что было у него в руках, и спасался бегством. Иной раз среди этих брошенных предметов попадались сигареты.

В собаках тоже не было недостатка, но они почему-то очень хотели потом играть с Артуром. Потому что у Артура было свое представление об игре с чужими, незнакомыми собаками, особенно с теми, которые на него лаяли, — схва-

тить такого пса передними лапами и лупить его задними, пока у того не потемнеет в глазах!

Артур пасся на лужайке и пребывал в мрачном настроении. Из-за этого мрачного настроения он был готов разрядиться на ком угодно, кто только подвернется. Из лаборатории слышались визг и вопли, но Артур никогда не вмешивался в семейные свары. Однако, когда появились представители власти, он очень заинтересовался. Их было двое, и прибыли они на джипе. Они вошли в ворота и решительно зашагали к парадной двери.

Артур, подпрыгивая, обежал дом и появился из-за угла как раз в тот момент, когда полицейские громко застучали в дверь. До этого момента он делал вид, что мирно пасется на тощих грядках Томаса, выясняя, почему несчастные оставшиеся кочны капусты растут так медленно. Услышав стук в дверь, он легко совершил прыжок эдак футов в тридцать и затормозил на хвосте, с интересом разглядывая посетителей.

— Б-б-б-оже мой! — пролепетал коротенький квадратный полицейский. Он курил сигарету. Теперь она выпала у него изо рта, а он схватился за пистолет.

Тут-то он и совершил ошибку. Артур обожал сигареты. А эта оказалась всего в каких-нибудь пятнадцати футах от него. Он совершил великолепный прыжок!

Представитель власти взвизгнул, увидев Артура в полете и летящего прямо на него. В такой момент Артур мог кого хочешь испугать. Полицейский выстрелил наугад и, к счастью, промахнулся. Артура это не остановило. Выстрелы для него ничего не означали. Всего лишь громкие звуки вроде выхлопов автомобилей, у которых плохо отрегулирован карбюратор. Он приземлился с размаху почти на ноги полицейского, и тот в панике набросился на него, истерически размахивая руками, причем в одной из них был пистолет.

Артур был добрейшим кенгуру, но не любил, когда на него нападали, очень не любил.

Коротенький квадратный полицейский снова взвизгнул, когда Артур схватил его передними лапами. Его товарищ прислонился спиной к двери, готовясь продать свою жизнь подороже. Но тут — все произошло одновременно, — когда Артур уже приготовился выбить дух из этого коротенького

квадратного полицейского, Томас, решив, что терять ему нечего, отпер дверь за спиной другого полицейского, и тот, ввалившись внутрь, ударился затылком о порог и потерял сознание.

Минут пятнадцать спустя коротенький квадратный полицейский мрачно заключил:

— Ну и вляпались же мы! Спасибо, что избавили меня от этого прыгающего страшилища, а Кейси благодарит вас за выпивку. Но дело в том, что мы выслеживали банду фальшивомонетчиков, которые выпускали чертовски похожие банкноты. След вел прямо к вам. Но если бы это было так, вы бы нас пристрелили. А вы этого не сделали. Значит, нам придется начинать все сначала.

— Боюсь, что след приведет вас снова ко мне,— с огорчением согласился Пит.— Но я не знаю, что могут агенты вранительства сделать с четырехмерным демонстратором. Потому что он и есть главный виновник. Я вам сейчас покажу.

Он повел полицейского в лабораторию. Артур последовал за ними, пылая жадной реванша. У полицейского такого желания явно не было.

— Лучше угостите его сигаретой,— предложил Пит.— Он их жует. А потом он будет вашим лучшим другом на всю жизнь.

— Нет уж, спасибо, черт побери! — сказал коротенький квадратный полицейский.— Лучше держитесь между этим страшилищем и мной! Разве что Кейси захочет стать его другом...

— У меня нет сигарет,— испуганно сказал Кейси.— А сигара не подойдет?

— Пожалуй, будет слишком крепко с утра пораньше,— рассудил Пит.— Но вы можете попробовать.

Артур прыгнул. Он приземлился в двух шагах от Кейси. Тот протянул ему сигару. Артур обнюхал ее и взял. Он сунул сигару в рот, откусил кусочек.

— Все в порядке! — радостно воскликнул Пит.— Ему понравилось. Пойдемте за мной!

Они подошли к лаборатории, открыли дверь и отшатнулись. Там царил хаос! Демонстратор работал, а Томас, бледный и растерянный, следил за его действием. Демонстратор выбрасывал пачки банкнотов величиной с тюки хлопка.

Когда каждый такой тюк появлялся из четвертого измерения, Томас хватал его и передавал очередной Дейзи, которые выстроились в ряд, видимо по принципу старшинства. Но Дейзи все время яростно ругались между собой, потому что одна или другая из них то и дело пыталась сжульничать.

— А это моя невеста,— спокойно сказал Пит.

Однако квадратный полицейский увидел только кипу зелененьких банкнотов, которые появлялись неизвестно откуда. Он выхватил короткоствольный массивный пистолет.

— Значит, у вас там за этой стенкой печатный станок, да? — сказал он угрожающе.— А ну-ка я погляжу!

Он двинулся вперед, как бульдозер, оттолкнул ошалевшего Томаса и взобрался на стеклянный диск толщиной в дюйм. Пит в ужасе бросился к выключателю. Но было уже поздно. Стеклянный диск совершил одну восьмую оборота. Демонстратор восторженно заурчал, и, прежде чем Пит онемевшими пальцами сумел выключить всю систему, на диске стояло двое идентичных полицейских.

Оба полицейских смотрели друг на друга с тупым изумлением, не веря своим глазам. У Кейси волосы встали на голове дыбом. И тут Артур положил ему переднюю лапу на плечо. Артуру понравилась сигара. Дверь в лабораторию осталась открытой. Он и вошел попросить еще одну сигару. Но нервы Кейси не могли больше выдержать. Он дико вскрикнул и бросился прочь, вообразив, что Артур прискакал по его душу. Кейси вломился в тессеракт и безнадежно запутался в его переплетениях.

Артур был очень милым кенгуру, но в то же время очень чувствительным. Вопли и явный страх Кейси весьма огорчили его. Он прыгнул наугад, сбил с ног Пита, который ухватился за выключатель демонстратора и случайно повернул его, и приземлился на диске между двумя ошарашенными копиями коротенького полицейского. Но у обоих была свежа в памяти первая встреча с Артуром, поэтому их словно ветром сдуло, прежде чем диск начал вращаться.

А вот Артур остался. Держась за какой-то рычаг демонстратора, он успел только наподдать ближайшей копии коротенького квадратного человечка, так что тот вылетел за дверь, описав длинную изящную дугу.

Пит в это время боролся с другим дубликатом, который

размахивал пистолетом и требовал объяснений охрипшим от возмущения голосом.

Пит пытался растолковать ему феномен четвертого измерения на примере хорошеньких девушек, которые могли бы поскользнуться на банановой кожуре, но полицейский решительно заявил, что все это чушь собачья. И тут же завопил охрипшим голосом, когда еще один Артур спрыгнул с вращающегося стеклянного диска, а за ним появились на сцене третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой Артуры.

Полицейский орал на Пита, пока отчаянный визг всех Дейзи не заставил его обернуться: лаборатория была полна пятифутовых Артуров, которые все с радостным изумлением знакомились друг с другом, то есть с самим собой и выражали искреннее желание наконец-то поиграть в свои кенгуровые игры.

Артур был единственным существом, обрадованным этим поворотом событий. До сих пор ему приходилось довольствоваться в основном своим собственным обществом. А теперь вдруг такая многочисленная и шикарная компания! Из единственного однополого кенгуру Артур превратился в целое стадо! И, забыв от счастья всякие приличия, Артуры принялись играть в своего рода веселую кенгуриную чехарду, опрокидывая все, что можно было опрокинуть в лаборатории.

Полицейский упал на четвереньки и сразу стал главным участником этой беспорядочной чехарды: все Артуры с восторгом прыгали через него. Дейзи вопили от ярости. А Артуры выбирали все новые точки опоры для своих прыжков, пока один из них не вздумал перепрыгнуть через двигатель демонстратора. Когда Артур оттолкнулся от него, самый сложный механизм яростно заскрипел и ударил током. Артур в ужасе бросился вон через окно, и все остальные Артуры помчались за ним, полагая, что все это — забавнейшая игра!

Через секунду в лаборатории не было ни одного Артура. Но демонстратор издавал какие-то странные мучительные звуки. Кейси как застрял, так и остался в решетке тессеракта, сквозь которую смотрел на мир с выражением узника в камере смертников. В лаборатории оставался только один из двух коротеньких полицейских. Но этот лежал без сознания. А все Дейзи были настолько разъярены, что ни одна из шести не могла произнести ни звука. Один лишь

Пит оставался в здравом уме в меланхолическом спокойствии.

— Ну что ж,— сказал он философским тоном,— дела вроде улаживаются. Но с демонстратором что-то случилось.

— Сожалею, сэр,— проговорил Томас загробным тоном,— но я ничего не смыслю в механике.

Одна из Дейзи сердито сказала другой Дейзи:

— Ну и нахалка же ты! Эти деньги вон там мои!

Обе бросились на стеклянный диск. Три других Дейзи, возмущенно протестуя, кинулись за ними. А шестая, и Питу показалось, что это была настоящая Дейзи, принялась быстро хватать доллары из кучек банкнотов, которые успели собрать остальные.

И тут демонстратор издал странный звук. Пит с отчаянием бросился осматривать рычаги. Он нашел то место, куда прыгнул один из Артуров, увидел отключенный рычаг, который, видимо, управлял скоростью демонстратора. И наугад повернул его в другую сторону. Демонстратор облегченно загудел и защелкал. И только тогда Пит с ужасом увидел, что пять Дейзи все еще ругались и дрались на стеклянном диске. Он хотел выключить демонстратор, но было уже поздно.

Пит зажмурился, стараясь изо всех сил сохранить спокойствие, но почувствовал, что волна отчаяния захлестывает его. Он очень, очень любил одну Дейзи. Однако шесть Дейзи было уже чересчур. А теперь, когда их станет одиннадцать, а может быть...

Хриплый голос раздался у него над ухом:

— Ага! Вот где вы прячете печатный станок и всю прочую чертовщину с разными двойными зеркалами — я же не сумасшедший, чтобы видеть своих двойников! Так я сейчас сам пройду через эту потайную дверцу, за которой скрылись эти девки! И если за этой дверцей стоит кое-что незаконное, кое-кто об этом горько пожалеет!..

Дубликат полицейского вспрыгнул на стеклянный диск, необъяснимо пустой. Демонстратор щелкнул. Потом загудел. И диск повернулся, но в другую сторону! Полицейский офицер исчез мгновенно, почти мгновенно. Он появился из прошлого совершенно случайно и вернулся в прошлое таким же путем. Потому что один из Артуров случайно передвинул рычаг демонстратора в нейтральное положение, а Пит по неосторожности перевел его на обратный ход. Пит

сообразил, куда подевался лишний полицейский, сообразил, куда делись все лишние Дейзи, а заодно весьма стеснявшие его кипы банкнотов. И вздохнул с великим облегчением.

Однако Кейси, который только что выбрался из переплестений тессеракта, никакого душевного облегчения не испытывал. Он оттолкнул Томаса, который пытался ему помочь, и бросился к джипу. И здесь увидел своего коллегу, с ужасом взирающего на девятнадцать Артуров, которые самозабвенно играли в чехарду, прыгая через все машины во дворе. После долгих объяснений полицейские еще больше огорчились и поспешили уехать на своем слегка помятом джипе. Пит проводил их до ворот.

— Я полагаю, они вряд ли вернутся, сэр,— с надеждой сказал Томас.

— Я тоже так думаю,— сказал Пит не с надеждой, а с полной уверенностью. Потом обернулся к оставшейся Дейзи, перепуганной, но все еще охваченной жадной наживы.— Дорогуша моя,— сказал он ей нежно.— Все эти банкноты, как оказалось, поддельные. Все до одного. Нам придется сунуть их обратно в демонстратор, а мы уж как-нибудь проживем на хлебе и воде.

Дейзи попыталась принять невозмутимый вид, но это ей не удалось.

— Ну и нахал же ты! — сказала она с досадой.

Сирил Корнблат

Полночный алтарь

Я было решил, что цвет лица мальчугана, который явно не соответствовал его возрасту, — результат запойного пьянства. Но когда он оказался под самой лампочкой возле кассы, чтобы прикурить у бармена, я понял, что дело не в алкоголизме. Не только нос, но и щеки были покрыты частой сеткой лопнувших кровеносных сосудов. И глаза какие-то странные. Вероятно, он заметил мой взгляд, так как тут же отодвинулся в тень.

Бармен тряс передо мной бутылкой эля, как швейцарский звонарь колокольчиком. Эль пенился за зеленым стеклом. — Еще одну, сэръ? — спросил он.

Я покачал головой. На дальнем конце стойки он попытался повторить ту же штуку с мальчуганом, который пил шотландское виски с содовой или что-то в этом духе, и тот оказался сговорчивей. За десять минут бармен всучил ему три шотландских виски. Когда он попробовал проделать это в четвертый раз, мальчуган набрался храбрости и отказался:

— Я сам скажу тебе, Джек, когда захочу.

Скандала не последовало.

Было почти девять вечера, и народ в забегаловку валом валил. Хозяин — настоящий гангстер по виду — стоял у дверей, чтобы отгонять старшекласников, и громогласно приветствовал завсегдатаев. Входили, торопясь, девушки со своими маленькими сумочками, в которых лежали туалетные принадлежности. У них были пышные прически и холодные лица с наведенными на них модными губами. Одна остановилась, что-то сказала хозяину, вроде извиняясь, и тот буркнул:

— Ладно, давай в туалетную...

За портьерой в дальней части эстрады джаз из трех человек наяривал нечто зажигательное, у обоих барменов забот полон рот. Пили преимущественно пиво — была середина недели. Я допил эль, и пришлось подождать пару минут, пока принесут новую бутылку. Места за стойкой заполнялись с того конца, что был поближе к эстраде,—

посетители за свои пятидесятицентовые бутылки пива жаждали насладиться еще и стриптизом. Однако я заметил, что рядом с мальчуганом никто не садился, а если и садились, то ненадолго. Вот так это и бывает: приходишь развлечься, а бармен тебя третирует, и никто не хочет посидеть с тобой. Я захватил бутылку и стакан и сел на стул слева от него.

Он сразу же обернулся и сказал:

— Поганая дыра, верно?

Лицо его было в узоре лопнувших кровеносных сосудов, таких частых и таких многочисленных, что они превращали его во что-то вроде расписанной под мрамор резины. А странный взгляд был действительно от *этого* — от контактных линз. Я старался не смущать его пристальным разглядыванием, но и не отворачивался.

— Да нет, ничего,— ответил я.— Неплохое местечко, если ты привык к шуму...

Он сунул в рот сигарету и щелчком пододвинул пачку ко мне.

— Я космонавт,— перебил он меня.

Я взял сигарету.

— Вот как!

Он щелкнул зажигалкой и добавил:

— А сигареты с Венеры.

Я заметил, что лежавшая на стойке пачка была опечатана желтой, а не обычной зеленой маркой.

— Ну не подлость ли? — продолжал он.— Курить в рейсе нельзя, а нам вместо сувениров дарят зажигалки. Впрочем, зажигалочка недурна. А на прошлой неделе на Марсе нам всем всучили дерьмовые наборы ручек и карандашей.

— За каждую поездку чего-нибудь дают, а? — Я сделал добрый глоток эля, а мальчуган прикончил свое шотландское.

— Рейс! Надо говорить не поездка, а рейс.

Одна из девиц протиснулась к стойке. Она хотела сесть на свободный стул справа от мальчугана, но, взглянув на него, передумала. Девица покрутилась возле меня и спросила, не поставлю ли я ей выпивку. Я сказал — нет, и она перешла к соседу. Я прямо-таки ощутил, как вздрогнул мальчуган. Когда я на него снова посмотрел, он уже стоял. Я пошел за ним, прочь из этой духоты. Хозяин механически осклабился и сказал:

— Прощайте, ребята.

На улице мальчуган остановился и рывкнул:

— Нечего за мной шастать, папаша!

Казалось — одно слово, и я получаю в зубы.

— Полегче! Я тут знаю одно местечко, где не сразу плюют в рожу.

Он взял себя в руки и пошутил:

— На это стоит поглазеть. Близко?

— В нескольких кварталах.

Мы пошли. Славная была ночка.

— Совсем незнакомый город, — говорил он. — Я-то сам из Ковингтона, штат Кентукки. Там и пьют дома. Таких местечек у нас нет.

Видно, он имел в виду весь район трущоб.

— Тут неплохо, — сказал я. — Я тут частый гость.

— Вон оно что! А у нас люди ваших лет обзаводятся женами и детишками.

— Есть они и у меня, провались они к дьяволу.

Он засмеялся чистым детским смехом, и я решил, что ему не больше двадцати пяти. Несмотря на выпитое виски, он ни разу не споткнулся о выщербленные камни брусчатки. Я сказал ему об этом.

— Чувство равновесия, — ответил он. — Надо иметь его в избытке, чтобы стать космонавтом. Приходится подолгу торчать за бортом в скафандре. Никто и не представляет себе как долго. Пробоины... Пропадешь, коли своей точки не знаешь.

— Это как понимать?

— А... это трудно объяснить. Когда ты снаружи да потерял свою точку, значит — пропал, не знаешь, где коробка — так мы корабль зовем — находится. А если чувство равновесия развито хорошо, ты вроде связан с кораблем, просто знаешь, где он, даже не дотрагиваясь. Стало быть, точка у тебя есть, можешь свободно вкальвать.

— Надо думать, на свете немало вещей, которые трудно объяснить...

Он решил, что я пытаюсь острить, и ухмыльнулся.

— Это Гендитаун, — сказал я немного погодя. — Здесь ошиваются отставники с железки. Вот мы и пришли.

Была вторая неделя месяца, и пенсионные еще не кончились. Освьяк — хозяин — так и шастал взад и вперед. «Потомки пионеров» на помосте орали «Парень с Марса», а ста-

рина Падди Ши отплясывал джигу на середине комнаты. В правой руке он держал полную кружку пива, а левый — пустой — рукав громко хлопал.

Мальчуган вылупился на дверь.

— Слишком светло! — сказал он.

Я пожал плечами и вошел. Он потащился вслед. Мы сели за столик. У Освияка можно пить и за стойкой, но так поступают только новички. Падди, приплясывая, подошел к нам и заорал:

— Привет, Док!

Он сам-то ирландец из Ливерпуля. Они там все говорят, как шотландцы, но мне это больше напоминает бруклинский говор.

— Привет, Падди! Привел кой-кого, кто будет побезобразнее тебя. Как считаешь?

Падди покружил вокруг мальчугана, его пустой рукав по-прежнему хлопал, а затем, когда пластинка кончилась, плюхнулся на стул. Сделав здоровенный глоток из кружки, он спросил:

— А вот так он может? — и растянул лицо в чудовищную гримасу, обнажившую зубы. Их было целых три.

Мальчуган засмеялся и обратился ко мне:

— На кой черт вы меня сюда затащили?

— Да просто Падди обещался поставить на круг пива, если сюда заглянет кто-нибудь побезобразнее его самого.

Приковыляла за заказом жена Освияка, и мальчуган спросил, что будем пить. Я решил, что самое время начинать, и мы взяли три двойных шотландских.

После второго круга Падди стал трепаться про то, как ему отняли руку без всякой анестезии, кроме бутылки джина, потому что скорый поезд, под который он попал, не мог долго стоять.

Рассказ привлек к столику еще нескольких калек, вместе с их историями. Блэки Бауэр будто бы сидел в товарном вагоне, свесив ноги наружу, когда поезд резко дернулся. Трах! — дверь захлопнулась. Все ржали над Блэки из-за его растяпства, и он озверел.

Сэм Фейрмен был в ударе. Сегодня он врал, что до того, как его одолела трясучка, он был часовых дел мастером. На прошлой неделе он был хирургом — специалистом по операциям на мозге. Незнакомая мне женщина — настоя-

щая Берта Тяжеловоз по виду — притащилась и стала заливать про то, как ее сестра вышла замуж за турка, но она окосела раньше, чем мы узнали, что же случилось с сестрой.

Кто-то спросил, что у мальчугана с лицом. Кажется, это был Бауэр, снова подсевший к столику.

— Компрессия и декомпрессия,— сказал мальчуган.— То влезаешь в скафандр, то вылезает из него. Да и внутри коробки давление пониженное. Появляются первые красные прожилки, то есть лопнувшие сосуды, и ты говоришь себе: «К чертовой матери эти деньги! Еще один рейс, и basta!» Но, господи, для моих лет это ведь *бешеные* деньги! Так и твердишь себе это, пока уже ничем, кроме космонавта, не сможешь быть. А на глазах — рубцы от жесткого излучения.

— И у тебя все тело такое? — вежливо спросила жена Освияка.

— Такое, мэм,— жалобно ответил мальчуган.— Но я брошу полеты, пока не получил «голову Боумена»...

Я с жадностью хлебнул жгучего шотландского.

— Плевать! — сказала Мэгги Рорти.— По-моему, он настоящий милашка!

— Если сравнить с...— начал было Падди, но я стукнул его ногой под столом.

Потом мы пели, потом трювили анекдоты, потом декламировали шуточные стихи, а еще потом я заметил, что мальчуган с Мэгги удалились в заднюю комнату, в ту, у которой была задвижка.

Жена Освияка спросила с недоумением:

— Док, а чего они летают на эти планеты?

— Во всем виновато это паршивое правительство,— буркнул Сэм Фейрмен.

— А чего бы им не летать? — ответил я.— У них теперь есть двигатель Боумена, так какого черта им не пользоваться? Туда им и дорога! — Я залпом осушил свое двойное виски и добавил: — За эти двадцать лет они узнали кое-что, чего раньше не знали. Красные прожилки — только частица этого нового. Еще двадцать лет, и они получают еще кое-что, пока им неизвестное. А к тому времени, когда в каждом американском доме будет ванна, а в каждом американском городишке — больница для алкоголиков, и узнавать-то будет уж нечего. Каждый американский парень превратится в жал-

кую развалину с порванными сосудами и вытаращенными глазами, как наш мальчуган. И все это из-за двигателя Боумена.

— Паршивое правительство! — повторил Сэм Фейрмен.

— А что ты хотел сказать своей шуточкой насчет алкоголизма? — спросил разозленный Падди.— Лично я могу бросить пить в любую минуту.

И мы снова обсудили эту проблему, выяснив, что любой из нас может бросить пить когда захочет.

Было уже около полуночи, когда мальчуган снова оказался за столиком. Выглядел он совсем сонным. Я был куда пьянее, чем обычно бываю к этому времени, а потому решил пойти прогуляться. Мальчуган потащился за мной, и мы наконец добрались до скамейки в Скрюболл-сквере.

Все еще галдели уличные ораторы. И, как я уже говорил, ночь была славная. Вскоре старая толстая тетка, которой было решительно наплевать на чью-то там внешность, подсе-ла к нам и попыталась уговорить мальчугана пойти посмотреть «картинки». Мальчуган ни черта не понял, и я во избежание скандала увел его послушать ораторов.

Одним из них был слюнявый евангелист.

— О, мои братья,— голосил он,— когда я посмотрел в иллюминатор звездолета и узрел чудеса господнего небосвода...

— Ты, вонючий брехун янки! — заорал на него мальчуган.— Попробуй только вякнуть еще раз про полет в коробке, и я вобью этот звездолет в твою лживую глотку! Где твоя краснота, если ты такой заправский космонавт?!

Толпа толком не понимала, о чем речь, но выражение «где твоя краснота» понравилось, и под эти выкрики губошлепу пришлось слезть с ящика из-под мыла.

Я снова оттащил мальчика к скамейке. Алкоголь бродил в нем со страшной силой. Потом он чуть протрезвел и спросил:

— Док, а мне надо было платить мисс Рорти? Я после спросил ее, а она сказала, что хотела бы сохранить что-нибудь на память обо мне. Я отдал ей зажигалку. Кажется, она ей приглянулась по вкусу. Но не обидел ли я мисс Рорти таким прямым вопросом? Я вроде уже говорил, что у нас в Ковингтоне таких заведений нет. А может, и есть, да я о них не слыхал. Так как же мне следовало обойтись с мисс Рорти?

по нашим рекам, обязано платить ей пошлину; ничего этого она не знала, как не знала и не узнала до самой смерти, что ее сын вовсе не был таким простачком, великовозрастным дитятей, каким он ей казался, когда навещал ее в дарованном ей особняке, когда приносил ей в подарок все эти игрушки, которыми сам же с восхищением забавлялся; она не знала, что уже тогда он ввел налог на убой скота, что этот налог целиком и полностью шел в его карман, не знала, что он брал немалые деньги за протежирование, не гнушался богатыми корыстными подношениями своих клеветов, кроме того, выигрывал огромные суммы в лотерею — ведь система розыгрыша лотерейных билетов была детально разработана им самим и безотказно действовала так, как ему было нужно. Это дельце с лотереей он провернул во времена, наступившие после его мнимой смерти, а именно: во времена Великого Шума, сеньор, которые были названы так не из-за того, как это думают многие, что однажды в ночь на святого Эраклио-мученика через всю страну прокатился адский подземный грохот, кстати, так и не получивший никакого разумного объяснения, а из-за того, что в ту пору с превеликим шумом закладывались повсюду всевозможные стройки; в момент закладки их объявляли величайшими стройками мира, хотя ни одна из них так и не была завершена; по шуму было много, сеньор; в ту пору он имел обыкновение созывать государственный совет в час сиесты, и не во дворце, а в особняке матери, в затененном ветвями тамариндов дворике; лежа в гамаке и обмахиваясь шляпой, закрыв глаза, он слушал расположившихся вокруг гамака краснобаев с напомаженными усами, изнемогающих от жары в своих суконных сюртуках, сдавленных целлулоидными воротничками говорунов министров, этих ненавистных ему штафинок, которых он вынужден был терпеть из соображений выгоды; они разглагольствовали, а он, слушая, как их голоса тонут в шуме крыльев петухов, гонящихся по двору за курами, слушая, как неумолчно и монотонно звенят цикады, как где-то по соседству неутомимый граммофон поет одну и ту же песню: «Сусанна, приди ко мне, Сусанна!», задремывал, и министры вдруг умолкали почтительно: «Тихо, генерал уснул!» — однако он, обрывая храп, но не открывая глаз, гаркал: «Продолжайте, я слушаю!» — и они продолжали, пока он не выбирался из паутины сиесты, из ее томительной дремоты, и не подводил итог: «Глулости все, что вы тут наболтали.

Только один из вас дело говорит — министр здравоохранения, мой земляк. Ну, какого вам еще надо? Разойдись, копчилась катавасия!» Затем он обсуждал государственные дела со своими личными помощниками во время обеда, расхаживая взад-вперед с тарелкой в одной руке и с ложкой в другой, а многие вопросы он решал и совсем уж на ходу, поднимаясь по лестнице, даже не решал, а просто ворчал: «Делайте, что хотите, все равно я здесь хозяин». Он перестал интересоваться, любят его или не любят, — «Фигня все это», и стал появляться на всяких общественных церемониях, самолично перерезал ленточки, открывая то-то и то-то, выставлял себя напоказ в полный рост, рискуя собою так, как не отваживался рисковать даже в более безмятежные времена, — «Ни фига, обойдется!» А все остальное время он проводил за бесконечными партиями в домино со своим дорогим другом, генералом Родриго де Агиларом, и с министром здравоохранения, дорогим земляком. Лишь эти двое были приближены к нему настолько, чтобы осмелиться просить об освобождении какого-либо узника или о помиловании приговоренного к смертной казни, лишь эти двое могли решиться попросить его, чтобы он дал аудиенцию королеве красоты Мануэле Санчес.

Это было удивительное дитя престолярства, дивный цветок, возросший посреди того моря нищеты, которое мы называли Кварталом Собачьих Драк, потому что собаки, обитающие в этом квартале, грызлись денно и нощно, не зная ни минуты роздыха, ни одного дня перемирия; то был район, куда не отваживались соваться патрули национальной гвардии, потому что стоило им там появиться, как их раздевали донага, а их машины разбирали на запчасти в мгновение ока; стоило заблудиться в этом квартале вполне справному ослику, и он выбирался из него в виде мешка с костями, столь запутан был лабиринт улиц Квартала Собачьих Драк, этого логова смерти, где исчезали похищенные сынки богачей, — «Там их убивали и жаривали, мой генерал, продавали их на рынке в виде жареных колбасок, представьте себе!» Но именно там родилась и выросла, там жила Мануэла Санчес, роковая Мануэла Санчес, календула мусорной свалки, — «Красота этой девушки потрясла всю страну, мой генерал!» Он был заинтригован, настолько заинтригован, что сказал: «Если она и впрямь такая необыкновенная красавица, то я готов не только принять ее, но и станцевать с нею тур валь-

са. Фиг с ним, пусть об этом напишут в газетах,— такие штуки очень нравятся простым людям». Однако вечером, после аудиенции с Мануэлой Санчес, начиная очередную партию в домино, он с явным разочарованием сказал генералу Родриго де Агилару, что эта хваленая королева бедняков не достойна даже одного тура вальса с ним, что это такая же заурядная девица, как сотни других Мануэл Санчес, живущих в Квартале Собачьих Драк,— «Эта платье нимфы с муслиновыми воланами, эта позолоченная корона с фальшивыми камнями, эта розочка в руке, этот страх перед маменькой, трясущейся над своей дочерью так, как будто та сделана из чистого золота! Но фиг с ней, я удовлетворил ее просьбы, их было всего лишь две: провести водопровод и электричество в Квартал Собачьих Драк. Однако я предупредил ее, чтобы она больше ко мне не лезла со своими просьбами,— терпеть не могу попрошаек и разговаривать не хочу со всякой рванью, какого им надо?» И тут он встал, не закончив партии, и ушел, хлопнув дверью, а когда пробило восемь, он появился на ферме и задал корм коровам, велел отнести во дворец сухие коровьи лепехи, затем отправился ужинать и, расхаживая, по своему обыкновению, с тарелкой в руке, поедая на ходу жаркое с фасолью, рисом и салатом из листьев платана, проверил, все ли в порядке во дворце, пересчитал всех караульных, все посты, начиная от поста у дворцовых ворот и кончая постом у дверей своей спальни, убедился, что их, как и положено, четырнадцать, затем проверил, на месте ли остальная личная охрана, и убедился, что она на месте: режется в домино в первом дворцовом патио; затем он удостоверился, что все прокаженные улеглись спать под кустами роз, что спят все паралитики, разлегшись на лестницах, и когда пробило девять, он оставил свою тарелку с ужином на подоконнике первого попавшегося открытого окна, а сам нырнул в густую смрадную тьму и очутился в бараке своих любовниц, возле кровати, на которой спали сразу три женщины вместе со своими недоносками; он забрался в эту кучу тел, в это дурно пахнущее месиво плоти, отодвинул в сторону две мешавшие ему головы и три пары ног и овладел одной из женщин, даже не видя ее лица, а она даже не проснулась, и никто не проснулся на этой кровати, лишь с соседней кровати послышался сонный женский голос: «Не сопите так, мой генерал, а то детей напугаете». Затем он вернулся во дворец, проверил шпингалеты всех двадцати

трех окон, зажег в коридоре, чтобы выкурить москитов, сухие коровьи лепехи,— он поджигал их, двигаясь от вестибюля в сторону жилых комнат, с интервалом в пять метров лепеха от лепехи, и, вдыхая их дым, вспоминал невообразимо далекое голоштанное детство, но разве это было его детство? Ведь оно вспоминалось на миг, когда он вдыхал навозный дым, но через минуту он уже ничего не помнил... Затем он двигался в обратном направлении, в сторону вестибюля, гася свет во всех комнатах, накрывая лоскутом материи птичьи клетки и считая, сколько их,— «Должно быть сорок восемь». Их и было сорок восемь, но на этом он не успокоился, снова обошел весь дворец с лампой в руке, четырнадцать раз увидел в четырнадцати зеркалах свое изображение — четырнадцать одинаковых генералов, несущих в руке зажженную лампу. Пробило десять. Все было в порядке. Он заглянул в спальню, где спали его гвардейцы, погасил в ней свет,— «Спокойной ночи, сеньоры!» Затем он заглянул во все кабинеты первого этажа, во все приемные, во все нужники, заглянул за все шторы, под столы — нигде никого не было; и он достал из кармана связку ключей и, различая назначение каждого ключа на ощупь, запер все кабинеты, после чего поднялся на главный этаж, и там тоже проверил все помещения, комната за комнатой, и запер их все на ключ, и, добравшись, наконец, до своей спальни, вынул из тайника банку с медом, принял на сон грядущий свои две ложки, успев подумать о матери своей, Бендисьон Альварадо, представив ее спящей там, в особняке на отшибе, в благоухании куста мелиссы и ароматной травы орегано, явственно увидев неподвижную руку матери, безвольно упавшую руку мастерицы, превращающей в иволгу любую серую птаху, такую безжизненную во сне руку, как будто мать не спит, а умерла, «Спокойной ночи, мать»,— шепнул он и услышал, как там, в особняке на отшибе, мать, не просыпаясь, ответила ему: «Спокойной ночи, сын!» Затем он повесил лампу на крюк у входа в свою спальню — лампа должна была гореть всю ночь, никто не имел права гасить ее, потому что этой лампой он должен был воспользоваться на случай ночного бегства; пробило одиннадцать, и он снова обошел весь дворец, нигде не зажигая света, в темноте, обошел просто так, на всякий случай: а вдруг кто-нибудь пробрался сюда, решив, что он уже спит? Он тихо двигался в темноте, освещаемый зелеными рассветами протяженностью в несколько

мгновений, зелеными пучками света лопастей вертящегося маяка, и в этом зеленом свете вспыхивала золотая шпора, оставляя за собой светящийся след звездной пыли; в промежутке между двумя вспышками он увидел спящего стоя прокаженного, который, очевидно, заблудился, и, не дотрагиваясь до него, проводил его в сад, к одному из розовых кустов, освещая путь во мраке светом своего бдения; он оставил прокаженного под кустом и снова пересчитал охрану, после чего побрел к себе; проходя по длинному коридору мимо окон, он видел в каждом окне Карибское море апреля, — он увидел его двадцать три раза, и, хотя он не останавливался, он видел, что оно было таким, каким всегда бывает в апреле — похожим на подернутое золотистой ряской болото; пробило двенадцать, и с последним ударом он почувствовал пронзительный страх, исходящий откуда-то из нутра его килы, этот страх закладывал уши, как свист, и не было на свете другого ощущения, другого звука, и, боясь своего страха, он заперся на три замка, на три цепочки, на три щеколды, справил малую нужду, выдавив из себя две капли, четыре капли, семь мучительных капель, и бросился на пол, рухнул на него ничком и мгновенно уснул без сновидений; но без четверти три он проснулся весь мокрый от пота, с жутким ощущением, что кто-то его разглядывал, пока он спал: кто-то, обладающий способностью проникать сквозь стены, не прикасаясь к замкам, — «Кто здесь?» — спросил он, но ответом была тишина; он смежил веки, пытаясь вернуться в сон, но тут же снова почувствовал, что на него смотрят, и, в страхе раскрыв глаза, увидел, что это Мануэла Санчес ходит по его спальне, запертой на все замки и щеколды, Мануэла Санчес, запросто проникающая сквозь стены, Мануэла Санчес недоброй полуночи, Мануэла Санчес в муслиновом платье, с пылающим угольком розы в руке, Мануэла Санчес, чье дыхание было подобно запаху орхидей, — «Скажи, что это не наяву, что это наваждение, — забормотал он, — скажи, что это не ты, что этот дурманный запах орхидей — не твое дыхание!» Но то была она, Мануэла Санчес, и роза пылала в ее руке, то ее теплое дыхание стало воздухом спальни; все здесь стало Мануэлой Санчес, весь мир стал Мануэлой Санчес, — так упрямая скала подчиняет себе древнюю силу моря, — «Мануэла Санчес моего падения, ведь тебя не предвещают линии судьбы на моей ладони, ты не была предсказана гаданием на кофейной гуще, ты не появля-

лась в зеркале вод, на которых мне ворожила гадалка-провидица, так не отнимай у меня моего сна ночного, не лишай меня привычного воздуха, потемок моей спальни, куда не входила и не войдет ни одна женщина, погаси свою розу!» — заклинал он, нашаривая на стене выключатель, но повсюду находил Мануэлу Санчес своего безумия, — «Черт подери, почему я должен находить тебя, если я тебя никогда не терял? Чего ты хочешь от меня? Хочешь, забирай мой дворец, забирай все, всю страну, но дай мне зажечь свет, скорпион моей ночи, Мануэла Санчес моей килы, мать твою перемать!» Он надеялся, что если он зажжет свет, то избавится от наваждения, от чар Мануэлы Санчес, и кричал что есть мочи: «Уберите ее, избавьте меня от нее, швырните ее на дно морское с якорем на шее, утопите ее, чтоб никто не терзался сиянием ее розы!» Он кричал это уже в коридорах, кричал, надсаживая голос, оскальзываясь на коровьих лепешках тьмы и в ужасе спрашивая себя: «Что же это стряслось на белом свете? Скоро восемь утра, а в этом сволочном доме все дрыхнут!» «Вставайте, рогоносцы!» — кричал он, и стали зажигаться лампы, в дворцовой казарме протрубили зорю, которая была подхвачена в крепости порта, а за ней — на базе Сан-Херонимо; зорю протрубили в казармах всей страны, началась побудка, лязгали испуганно разбираемые из пирамид ружья, розы раскрылись за два часа до первой росы, дворцовые бабы, как лунатички, вытряхивали под звездным небом половики, спящим в клетках птицам был задан корм, не успевшие завянуть цветы были выброшены и вместо них поставлены в вазы такие же свежие; бригада каменщиков спешно возводила стены, наклеив на каждое окно по солнцу из золотой фольги, чем сбила с панталыку подсолнухи, но эти солнца из фольги необходимо было наклеить на окна, чтобы создать видимость дня, ибо ночь еще витала в небе, календарь еще показывал воскресенье, заря понедельника еще не коснулась апрельского моря; ночь витала в небе, а крикливые китайцы — владельцы прачечных — будили и выталкивали на улицу рассыльных, чтобы те отправлялись к заказчикам за грязными простынями, слепцы-ясновидцы занялись прорицательством, прожженные чиновники делали вид, что находят в ящиках своих столов яйца, снесенные курами в якобы наступивший уже понедельник, в то время как это были яйца вчерашнего вечера; повсюду толпились ошеломленные люди, под столами, за кото-

рыми заседали члены экстренно созванного государственного совета, начали свою извечную грызню дворцовые дворняги, а он, ослепленный внезапно наступившим утром, направлялся в зал заседаний в сопровождении ничему не удивляющихся подхалимов, которые наперебой называли его творцом рассвета, властелином времени, хранителем солнечных лучей; когда же один из офицеров генерального штаба осмелился остановить его и, отдав честь, доложил, что сейчас не восемь утра, а всего лишь пять минут четвертого, то он влепил ему затрещину и рывкнул так, что весь мир услышал: «Сейчас восемь, черт подери! Восемь, я сказал!» Когда в три часа пополудни он явился к матери в ее особняк на отшибе, Бендисьон Альварадо удивленно спросила сына: «Что с тобой? Тебя укусил тарантул? Почему ты держишься за сердце?» Он молча опустил в плетеное кресло, убрал было руку с груди, но тут же, забывшись, положил на прежнее место. И тогда Бендисьон Альварадо, ткнув в сторону сына кисточкой для раскрашивания птиц, спросила еще более удивленно: «Ты что, на самом деле превратился в Образ Сердца Христа, что делаешь такие скорбные глаза и кладешь руку на грудь?» Он отдернул руку, встал и вышел, хлопнув дверью, выматерив про себя свою матушку, вернулся во дворец и стал слоняться по всем этажам, засунув руки в карманы, чтобы не тянулись, куда их не просят; слонялся и смотрел в окна на тоскливые струи дождя, на приляпанные к стеклу звездочки из серебристой оберточной фольги, на латунные луны, подвешенные за окнами, чтобы в три часа пополудни была иллюзия, что сейчас восемь вечера; он видел в окно промокших солдат охраны, видел тоскливое море и дождь, дождь, дождь, в каждой капле которого была Мануэла Санчес, недостижимая Мануэла Санчес, не принадлежащая ему Мануэла Санчес, хотя и живущая в этом городе, в городе, где ему принадлежало и было подвластно все; его преследовало видение жуткого в своей безлюдности помещения, где стоит стол с водруженными на него кверху ножками стульями, и это видение превращалось в чувство безысходного одиночества, одиочества еще одних сумеречных эфемерных суток, одиночества еще одной ночи без Мануэлы Санчес. «Черт подери, — вздохнул он, — такая боль в душе, как будто отняли что-то, что и вправду было». Он устыдился своего состояния, его рука в поисках успокоения потянулась было к сердцу, но он просунул ее в

штаны и положил на килу, убаюканную дождем, — какой она была, такой и осталась, громадная, тяжелая, и прежняя боль притаилась в ней, прежняя привычная боль, но сейчас она показалась ему нестерпимой, как будто он стиснул в руке собственное сердце, как будто он держал его на ладони, живое, обнаженное сердце, и только в эти минуты он понял справедливость утверждения, которое слышал в разное время от разных людей: «Сердце — это третье яичко, мой генерал!» Чертыхнувшись, он отошел от окна, послонялся взад-вперед по своей приемной и, томясь безвыходным положением пожизненного президента, чувствуя себя так, словно рыба кость застряла в душе, отправился в зал заседаний государственного совета, уселся и стал слушать, как всегда, ничего не слыша и ничего не понимая, о чем там говорят, и почти засыпая от навешающего сонливую скуку доклада о финансовом положении. И тут вдруг что-то изменилось в самой атмосфере заседания, что-то повисло в воздухе, умолк и уставился на президента министр финансов, и все остальные уставились на него, разглядывали его сквозь щели в броне непроницаемости, внезапно треснувшей от боли, а он ясно увидел самого себя, беззащитного, безмерно одинокого на своем стуле в конце длинного орехового стола, бледного от того, что застигнут врасплох в самом жалком для пожизненного президента положении: схватившимся за сердце; его жизнь догорала на ледяных угольках пристальных, как у ювелира, глаз министра здравоохранения; дорогой земляк, поигрывая в пальцах цепочкой карманных золотых часов, разглядывал само его нутро. «Должно быть, кольнуло», — осторожно сказал кто-то, но он уже принял с груди свою русалочью руку, положил ее, ставшую каменной от охватившей его злобы, на стол, лицо его приобрело обычный цвет, и он, как свинцовую очередь, вышлюнул в лицо всем яростную тираду, подтверждая свою авторитарную власть: «Вы бы хотели, чтоб кольнуло, рогоносцы! Ну, чего заткнулись? Продолжайте!» Они продолжали, но машинально, не слыша самих себя, каждый понимал, что с ним стряслось что-то из ряда вон выходящее, коли он такой злощип; все стали перешептываться, тихонько показывать на него пальцем: «Вы только посмотрите на него! Он так расстроен, что держится за сердце. С чего бы это? Все швы на нем расползлись». Пошел слушок, распространился по всему дворцу, будто президент срочно вызвал министра здравоохранения, что

когда тот явился, то застал президента за столом и увидел, что президент разглядывает свою правую руку, лежащую на столе как разбухшая колода; говорили, что президент приказал министру здравоохранения немедленно отрезать эту руку, чтобы она не мешала президенту жить, не тянулась произвольно, куда ее не просят; но, говорили, министр здравоохранения решительно отказался это делать, заявив, что не сделает этого даже под угрозой расстрела, — «Здесь вопрос справедливости, мой генерал, я не стану делать ампутацию, потому что весь я не стою одной вашей руки!» Сей слух и другие слухи о его состоянии повторяли во всех закоулках и на всех перекрестках, слухи росли и ширились, пока он продолжал самолично выделять на ферме молоко для казарм, глядя, как занимается пепельное утро вторника Мануэлы Санчес, ибо отныне все и вся было Мануэлой Санчес. Он велел выгнать из-под розовых кустов всех прокаженных, чтобы ими не смердели розы, могущие осквернить запах розы Мануэлы Санчес, он искал во дворце самые уединенные уголки, чтобы никто не слышал, как он поет: «Я танцую с тобой первый вальс, королева, чтобы ты не забыла меня! Чтобы знала, что смертью наказана будешь, если только забудешь!» С этой песней в душе он погружался в болото спален своих наложниц, пытаясь как-то облегчить свои страдания, и впервые за всю свою долгую жизнь никчемного любовника перестал быть торопливым петухом, не спешил, как прежде, а наслаждался и дарил наслаждение, подолгу, помногу, к удивлению женщин, которые счастливо смеялись в темноте и жарко шептали: «Растрчиваете вы себя, мой генерал, в ваши-то годы!» Но он слишком хорошо знал, что все это самообман, отсрочка неизбежного, что неотвратимо приближается день, когда он отправится вымалывать любовь Мануэлы Санчес, молитвь ее о любви ради всего святого, отправится искать ее дворец в дебрях мусорной свалки ее варварского королевства — в сердце Квартала Собачьих Драк. Он отправился туда в один из самых знойных дней, в два часа пополудни, отправился в штатском, без охраны, в обыкновенной машине, которая долго петляла по городу, погруженному в летаргию сиесты, оставляя за собой вонь отработанных газов; он миновал азиатское столпотворение торговых улочек и увидел великое море Мануэлы Санчес своего краха, увидел одинокого пеликана на горизонте, увидел дряхлые трамваи, идущие до самого ее дома, и приказал заменить

их новенькими желтыми трамваями с матовыми окнами и бархатным сиденьем для Мануэлы Санчес в каждом; увидел голые пляжи, где она проводила свои воскресенья, и приказал поставить там раздевалки и поднимать флаг погоды, чтобы по его цвету было видно, можно ли нынче купаться, и приказал огородить металлической сеткой персональный пляж Мануэлы Санчес; он увидел на берегу моря мраморные террасы и задумчивые лужайки вилл, где жили четырнадцать обогатившихся благодаря ему семейств, но особое внимание он обратил на виллу, которая стояла на отшибе, — то была самая большая вилла, с вертящимися фонтанчиками, и он возжелал: «Хочу, чтобы ты жила на этой вилле и ждала здесь меня!» И, конечно же, вилла тотчас была экспроприрована и отдана Мануэле Санчес; так переделывал он в мечтах окружающий мир, грезил наяву, сидя на заднем сиденье автомобиля, пока тот катился по берегу моря, но вот пропало дыхание морского бриза, кончился собственно город, и в машину ворвался дьявольский шум Квартала Собачьих Драк, в котором он очутился, и не поверил своим глазам, увидел, что это такое, в страхе восклицая про себя: «Мать моя, Бендисьон Альварадо, ты только посмотри, куда я попал! Спаси меня!» Однако никто в этом бедламе не узнавал его тоскливых глаз, его тонких губ, его пухлой руки, устало положенной на грудь, никто не обращал внимания на гугнивый голос древнего старикана в белом льняном костюме и простой кепке, никому не было дела до этого ветхого прадедушки, который, высунув голову из окна машины, расспрашивал: «Где здесь живет Мануэла Санчес моего позора, королева нищих, сеньора с розой в руке?» Он расспрашивал, где она живет, а сам в смятении думал: «Как ты можешь здесь жить где ты можешь здесь жить здесь где сплелись в один чудовищный клубок свирепо рычащие псы с окровавленными клыками и налитыми кровью сатанинскими глазами здесь в этой пучине кошмара где загрызенные до полусмерти кобели поджав хвосты воют и зализывают раны посреди зловонных луж как уловить твоё сладостное дыхание орхидей в этом реве пьяниц которых пинками вышвыривают из кабаков как мать твою перемать как пытка моей жизни как найти тебя в нескончаемом вихре марангуанго и бурунданго гордолобо и манта-де-бандера¹ в толчее харчевен с этой ужас-

¹ Здесь перечислены названия колумбийских народных танцев.

ной колбасой такой дрянной что от соседства с нею валяясь среди довесков и монетка становится черной как черт подери найти тебя в этом бредовом раю Черного Адама и Хуансито Трукупея¹ как отыскать твой дом в этом столпотворении трущобных зданий с желтыми покрытыми трещинами стенами с темно-лиловыми как ряса епископа фризамы с попугайски зелеными стеклами окон и голубыми рамами как отыскать твой дом где роза в твоей руке раскрыта подобно розовой раковине который час показывают твои часы в эти минуты в этом аду где недостойный сброд не признает моих установлений что сейчас три пополудни а не восемь вчерашнего вечера хотя в таком аду можно и спутать день с вечером как узнать тебя среди этих женщин которые посреди пустых комнат покачиваются в гамаках обмахиваясь подолом чтобы хоть немного остудить пылающее межножье...» Думая так, он заглядывал в открытые окна и спрашивал: «Где живет Мануэла Санчес моего отчаяния, та, что в платье из пены, покрытом блестками брильянтов, в диадеме из чистого золота, которую ей прислали в ознаменование первой годовщины коронации?» И наконец кто-то, услышав его в дьявольском шуме, сказал: «А-а-а, я знаю, о ком вы спрашиваете! Это такая толстозадая, цыцастая, и много о себе воображает, думает, что она над всеми обезьянами обезьяна. Она живет вон там, сеньор, вон в том доме!» Это был ничем не примечательный, разве что крикливо выкрашенный дом, с кучами собачьего дерьма у порога; видно было, что кто-то недавно поскользнулся на этом дерьме, входя в дом, в этот бедный дом, который никак не вязался с обликом Мануэлы Санчес, сидящей в вице-королевском кресле во время аудиенции у президента; и все-таки это был ее дом, ее жилище,— «Мать моя Бендисьон Альварадо моей души дай мне силы чтобы я мог войти!..» Но прежде чем войти, он десять раз обошел круговую весь квартал, а затем, отдышавшись, трижды постучал в дверь, и эти три удара прозвучали как три мольбы; он стоял и ждал в раскаленной тени подъезда и не мог понять, откуда такое зловоние? то ли сам воздух провонял от жары, то ли это он испортил его от мучительного волнения? Наконец мать Мануэлы Санчес провела его в прохладный просторный зал, где стоял запах несвежей рыбы, а сама отпра-

¹ Хуансито Трукупей — фольклорный персонаж, танцов-весельчак.

вилась будить дочь, которая спала в эти часы сиесты; он же сидел и разглядывал этот убогий зал, эту комнату своего несчастья, и видел на стенах следы дождевых потеков, видел продавленный диван, две кожаные табуретки с продавленными сиденьями (на третьей такой табуретке он сидел), видел пианино с оборванными струнами. И больше ничего не было в этом зальчике,— «Ничего, черт подери, и ради того, чтоб увидеть такое убожество, я столько страдал!» Мать Мануэлы Санчес вернулась с корзиночкой для рукоделия, присела на один из табуретов и принялась вязать кружева, пока ее дочь одевалась, причесывалась, искала свои лучшие туфли, чтобы выглядеть пристойно при встрече с неожиданным гостем, с этим внезапно заявившимся сюда старцем, а тот, все еще пребывая в смятении, бормотал про себя: «Где ты Мануэла Санчес моего несчастья я пришел к тебе но не вижу тебя в этом нищенском доме не слышу благовонного запаха твоего дыхания благоухания орхидеи а слышу только скверный запах объедков где же твоя роза где же твоя любовь освободи меня из тюрьмы моих собачьих терзаний!» Так бормотал он про себя, вздыхая, и тут на пороге внутренней комнаты появилась Мануэла Санчес: и такая, какой он ее представлял в своих грезах, в своих снах, и в то же время совсем не такая — образ одного сна, отраженный в зеркале другого; она была в дешевом ситцевом платье, в поношенных туфлях, волосы ее были наспех сколоты гребнем, но все равно она была самой прекрасной и гордой женщиной в мире, и роза пылала у нее в руке; это было такое ослепительное видение, что он едва нашел в себе силы, чтобы встать и поклониться, когда она с царственно поднятой головой поздоровалась с ним: «Да хранит вас бог, ваше превосходительство!» — поздоровалась и присела на диван, куда не доносились смрадные запахи похоти, исходившие от гостя, и, присев, вертя в пальцах уголек розы, бесстрашно глянула прямо в лицо гостю,— «Я увидела губы летучей мыши, губы нетопыря, немигающие глаза утопленника, которые, казалось, глядят на меня сквозь толщу воды, увидела безволосую кожу, землистую, с желтоватым оттенком кожу лица, совсем дряблую кожу, но она была холеной и гладкой на руках; правую руку он держал на колене, и хорошо был виден перстень с президентской печаткой; белый льняной костюм висел на нем, как на вешалке, туфли на ногах были громадные-прегромадные, покойников обувают в такие туфли, сеньор!

Я угадывала его потаенные мысли, ощущала мистическую силу его власти, власти самого древнего старика всей земли, самого жестокого из жестоких, ненавистного всей стране, не вызывающего и капли жалости или сочувствия, а он обмахивался кепкой и молча разглядывал меня с другого берега жизни. «Боже мой, какой мрачный человек!» — подумала я в страхе, а сама холодно спросила: «Чем могу служить, ваше превосходительство?» — на что он торжественно ответил: «Я пришел просто так, королева! Просто так!» Этот визит не принес ему облегчения. Он стал ездить к ней каждый день, каждый день в течение многих месяцев, всякий раз в мертвые часы сиесты, в часы зноя, в те самые часы, в которые он обычно посещал мать: он выбрал именно эти часы для поездок к Мануэле Санчес с тем, чтобы обмануть органы нацбезопасности — пусть думают, что он у матери, в ее особняке на отшибе. Но только он не знал того, что было известно всему миру; что карабинеры генерала Родриго де Агилара прикрывали каждый его шаг, лежа на крышах, что они намеренно запутывали уличное движение, вызывая дьявольскую неразбериху, а затем ударами прикладов освобождали улицы от прохожих; всякое движение по тем улицам, по которым он должен был проезжать, прекращалось — они должны были быть пустынными с двух до пяти; карабинеры получили приказ стрелять без предупреждения по каждому, кто осмелится в эти часы появиться на балконе. Но даже самые нелюбопытные умудрялись проследить, как появляется президентский лимузин, закамуфлированный под простецкую машину, успевали увидеть сидящего в лимузине пылкого старикана в целомудренно белом штатском костюме из льняной ткани, увидеть его бледное лицо, повидавшее столько сиротских рассветов, лицо человека, втайне проливающего скорбные слезы, лицо человека, который махнул рукой на то, что о нем подумают или скажут по поводу того, что он держится за сердце. Весь его вид свидетельствовал, что он не властен над своей душой, что он уподоблен жертвенному животному, идущему на заклятие по этим пустынным улицам в мертвые часы зноя, когда воздух становится похожим на расплавленное стекло. И постепенно разговоры о его непонятных и странных недомоганиях превратились в пересуды о том, что он проводит часы сиесты не в доме своей матери Бендисьон Альварадо, а в тихой заводи Мануэлы Санчес, в затененном зале ее квартиры,

под бдительным оком матери Мануэлы, которая неутомимо вязала свои кружева, ни на миг не оставляя его и дочь наедине друг с дружкой, но в то же время стараясь быть незаметной,— в конце концов, ведь это ради ее дочери он тратился на дорогие игрушки, на всякие хитроумные машины, стремился увлечь ее тайнами магнетизма, дарил ей пресс-папье из горного хрусталя, в глыбе которого благодаря игре света бушевали снежные бури — пленницы хрустальной глыбы, дарил астрономические и медицинские приборы, манометры, метрономы, гироскопы; он скупал их везде и всюду, швырял деньги наперекор недовольству своей матушки Бендисьон Альварадо и наперекор собственной железной скупости; он почитал за счастье забавляться с Мануэлой Санчес, прикладывая к ее ушку патриотическую игрушку — морскую раковину, передающую не шум морского прибора, а сочиненные в честь режима военные марши; он подносил горящую спичку к настенному градуснику, чтобы Мануэла Санчес могла видеть, как подымается и опускается угнетенная ртуть его сокровенных дум; он ни о чем не просил Мануэлу, он лишь глядел на нее, ни единым жестом не выдавал своих намерений, а молча пытался подавить ее своими безумными подарками, подарками выказывая то, чего не мог выразить словом,— ведь все желания он привык облекать в нечто зримое, осязаемое, конкретное, в овеществленные символы своего всемогущества. И вот однажды, в день рождения Мануэлы Санчес, он предложил ей открыть окно, чтобы она порадовалась тому, что увидит, там, за окном,— «Я открыла, сеньор, и окаменела от ужаса. Что они сделали с моим бедным Кварталом Собачьих Драк? Я увидела наспех построенные и выбеленные известкой деревянные дома, увидела голубые синтетические лужайки с вертящимися фонтанчиками, увидела павлинов, увидела белые, как ледяные вихри, тучи распыленного ДДТ,— представляете, сеньор?» Это была жалкая копия района, построенного некогда для офицеров морской пехоты; все эти декорации сооружались по ночам, скрытно, а чтоб не было никакого шума, перебили всех собак, всех до единой, а жителей выселили, отправили гнить на другую свалку нечистот, а на месте этой возник новый квартал, квартал Мануэлы Санчес, который она должна была увидеть из своего окна в день своего рождения,— «Вот, взгляни, королева, и будь счастлива!» То была попытка ошеломить ее всеилием власти, соблазнить возможностями

власти, попытка поколебать ее очень тактичную, но твердую неуступчивость: «Пожалуйста, не прижимайтесь ко мне, ваше превосходительство! Ведь здесь мама». И он вынужден был считаться с мамой, с этой хранительницей ключей дочерней чести, и, томясь желанием, погрязая в нем, глодал про себя кость злобы, а Мануэла Санчес любезно подносила ему холодную воду, разбавленную соком плодов дерева гванабано, и он по-стариковски, медленными глоточками пил эту воду, терпеливо сносил ледяную боль в висках, пронзительное колотье мигрени, стараясь не выдать недомоганий своего возраста, боясь, как бы Мануэла не полюбила его из жалости взамен любви, какой он ждал от нее, а она, находясь рядом, ввергала его в пучину такого одиночества, которое он был не в состоянии вынести, и умирал от желания коснуться ее хотя бы своим дыханием до того, как заводной ангел, большой, в натуральную величину, облетал все комнаты, звоня в колокольчик, возвещая, что время свидания кончилось, — «Мой смертный час возвещал этот ангел!» Он растягивал последние минуты своего пребывания здесь, дорожа последними глотками воздуха этой залы, тянул мгновения, складывая в коробки игрушки, чтобы коррозия, подобно саркоме, не превратила их в прах в этом влажном, пропитанном солью морском климате, — «Одну минуточку, королева! Я только спрячу все это». Но вот истекала и эта минуточка, он должен был уходить — до завтра! Но до этого завтра была целая жизнь, целая вечность, а пока ему не хватало мига, доли мига, чтобы еще раз оглянуться на недосыгаемую девушку, которая, увидев ангела с колокольчиком, застывала с увядшей розой на подоле в ожидании ухода своего поклонника. Наконец он уходил, исчезал, становился тенью среди предвечерних теней, удалялся, мучимый страхом позора, страхом выглядеть смешным в глазах публики, он не знал, что все давно уже смеялись над ним, что о его страсти толковали на всех перекрестках и даже сложили об этом песенку, которой не слышал только он один. Зато вся страна ее знала — даже попугаи распевали ее во все горло в каждом патио: «Весь в слезах, в тоске зеленой, генерал идет влюбленный, — руку он прижал к груди. На него ты погляди: все сожрала злая страсть — и достоинство и власть. Стало видно всей стране: правит нами он во сне!» Этой песенке научились от домашних дикие попугаи, ее подхватили сороки и пересмешники, и благодаря им песенка выпорхнула за пре-

дела столицы, ее стали распевать по всей стране — только и слышно было, как толпы людей, разбегаясь при виде чинов службы национальной безопасности, дружно выкрикивали слова этой песенки, а затем к ней стали присочинять новые куплеты, вроде такого: «Наш любимый генерал всю отчизну обмарал; удружил так удружил — головою наложил, а новейшие законы задним местом изложил!» Новые куплеты множились и множились, их присочиняли даже попугаи, запутывая нацбезопасность, которая пыталась на корню уничтожить песенку: военные патрули в полном боевом снаряжении врываются в патио и расстреливали подрывающих устои попугаев в упор, срывали их с жердочек и живьем бросали на съедение собакам; даже осадное положение было объявлено в тщетной попытке искоренить крамольные куплеты, в тщетной попытке лишить людей возможности видеть то, что они видели: как он прокрадывался в сумерках к черному ходу своего дворца, как прошмыгивал в него, подобно ночному бродяге, как проходил через кухни и скрывался затем в дыму горящих коровьих лепешек, которыми выкуривал из жилых помещений москитов,— «До завтра, королева! До завтра!» А назавтра в тот же час он снова заявлялся к Мануэле Санчес, нагруженный огромным количеством неслыханных подарков, и, в конце концов, подарков этих собралось столько, что с домом Мануэлы пришлось соединить соседние дома, превратить их в одну громадную пристройку к тому залу ее квартиры, где Мануэла принимала своего гостя, и все это, в свою очередь, превратилось в огромный сумрачный склад, в котором хранились всевозможные часы всех времен, граммофоны всех марок и типов, начиная от самых примитивных, цилиндрических, и кончая новейшими, с никелированной мембраной, множество ручных, ножных и электрических швейных машин, гальванометры, музыкальные шкатулки, аппараты для оптических фокусов, коллекции засушенных бабочек, гербарии азиатских растений, оборудование для физиотерапевтических лабораторий и кабинетов физической культуры, астрономические и физические приборы, а также целый сонм кукол с внутренними механизмами для имитирования людей; в большинство помещений этого склада никто не входил, вещи валялись и пылились на тех местах, где их некогда положили, там даже не подметали, в этом складе, никому не было до него дела, а уж Мануэле Санчес и по-прежнему — все на свете было ей безразлично и постыло с

той самой черной субботы, когда ее короновали на карнавале, — «В тот день меня постигло несчастье — я стала королевой красоты. В тот вечер наступил для меня конец света! Все мои бывшие поклонники поумирали один за другим, кто от разрыва сердца, кто от каких-то неслыханных болезней, бесследно пропали все мои подруги». Не выходя из родного дома, она очутилась в чужом незнакомом квартале, ибо все вокруг было перестроено и переделано, оказалась в ловушке судьбы, оказалась пленницей страсти мерзкого воздыхателя, облеченного неслыханной властью, и у нее не хватало храбрости сказать ему: «Нет», — и не доставало сил сказать: «Да», а он все преследовал и преследовал ее своей уничиженной любовью, глядел на нее в каком-то благоговейном оцепенении, обмахиваясь белой шляпой, мокрый от пота, настолько отрешенный от себя самого, что она порой думала: «Полно! Он ли это? Может, это всего лишь жуткое привидение?» Но это не было привидением. Она видела, как он ходит, как пьет фруктовую воду, как клюет носом, засыпая со стаканом в руках в плетеном кресле в те предвечерние часы, когда медное стрекотание цикад сгущало сумерки в зале, слышала, как он всхрапывал, и вскакивала, подхватывая готовый выпасть из его руки стакан с водой: «Осторожно, ваше превосходительство!» Он тут же просыпался испуганно и бормотал: «Я вовсе не спал, королева, вовсе не спал! Лишь прикрыл глаза!» Ему было невдомек, что она своевременно убрала стакан, который он чуть не выронил, всхрапнув, он не замечал ее тонких и вертких уловок, направленных к тому, чтобы избегать его, находясь рядом и обихаживая. Так это и тянулось вплоть до того невообразимого дня, когда он явился к ней необыкновенно возбужденный и заговорил, захлебываясь словами: «Нынешней ночью, королева, я преподнесу тебе небывалый подарок, вселенский подарок; этой ночью в одиннадцать ноль шесть ты увидишь чудо — по небу пройдет звезда, она пройдет для тебя, королева, только для тебя!»

То приближалась комета; для нас прохождение кометы явилось одним из величайших разочарований, одним из самых печальных событий нашей истории, днем обманутых надежд, ибо долгие годы ходил слух, что продолжительность жизни нашего генерала не подвластна течению обычного земного времени, что она обусловлена периодом обращения кометы, что он будет жить до тех пор, пока не явится комета, пока он не увидит ее, что так ему на роду

было написано, но что второго прохождения кометы увидеть ему не дано, что бы ни твердили на сей счет подхалимы и прихлебатели. Так что мы ждали комету, как миг возрождения, как прекраснейшее событие во вселенной, которое случается один раз в столетие в ноябрьскую ночь; мы готовили к этой ночи праздничные фейерверки, сочиняли радостную музыку, готовились торжественно звонить в колокола, — впервые за последние сто лет не для того, чтобы восхвалять его, а в ожидании его неминуемого конца, который должны были возвестить одиннадцать гулких ударов ровно в одиннадцать часов вечера. Сам он в ожидании знаменательного явления кометы находился на плоской крыше дома Мануэлы Санчес, сидел на стуле между Мануэлой и ее матерью и шумно вздыхал, чтобы они не услышали, как испуганно стучит его сердце, вздыхал и смотрел на оцепеневшее в жутком предчувствии небо, ощущая рядом с собой сладостное ночное дыхание Мануэлы Санчес, волнующие запахи ее плоти. Но вот он услышал, как зарокотали вдали барабаны заклинателей кометы, услышал глухие причитания, услышал подобный подземному вулканическому гулу гул людских толп, встающих на колени перед вестницей катаклизма, перед таинственным существом, для которого он был пылинкой, а его необъятная власть — ничем, для которого его возраст был короче мгновения, ибо само оно было воистину вечным. И он впервые ощутил беспредельность времени, впервые по-настоящему ужаснулся тому, что смертен, и в этот миг увидел ее, — «Смотри, королева, это она вон там!» Она возникла из глубин мироздания, выплывала из космической бездны, она, кто был древнее всего нашего мира, скорбная огненная медуза величиной вполнеба; каждая секунда ее движения по орбите на целый миллион километров приближала ее к родным истокам — скоро все услышали шорох ее движения, как будто зашуршала от ветра бахрома из серебряной фольги; все увидели ее скорбный лик, ее полные слез глаза, змеиные космы ее волос, растрепанные космическими вихрями; она проходила, оставляя за собой свечение звездной пыли, рой метеоритов, глыбы обугленных лун, подобные тем, от ударов которых, еще до возникновения времени на земле, образовались океанские кратеры, — проходила огненная медуза с растрепанными свтящимися змеевидными волосами. «Смотри, королева, хорошенько смотри, ведь только через сто лет она появится снова!» — услышала его шепот Мануэла Санчес и в страхе

перекрестилась, прекрасная как никогда, в фосфорическом сиянии кометы, осыпанная звездной пылью, перекрестилась и схватилась за его руку, — «Мать моя Бендисьон Альварато это произошло Мануэла Санчес схватилась за мою руку!» Она и не заметила, как это случилось, потому что, увидев разверзшуюся перед нею пропасть вечности, ужаснулась, непроизвольно попыталась обрести какую-то опору и бессознательно оперлась на его руку, инстинктивно схватилась за эту выхоленную гладкую руку хищника с президентской печаткой на безымянном пальце, за эту полную скрытого жара руку, выпеченную на медленно пылающих углях власти. Мы же мало были взволнованы библейским чудом, огненной медузой, которая затмила созвездия и вызвала над страной звездный дождь, мы почти не обращали внимания на само это чудо, ибо были поглощены ожиданием его немедленных последствий; даже самые недоверчивые из нас верили, что вот-вот произойдет нечто неслыханное, смертельный катаклизм, что разрушатся сами основы христианства и начнется эра Третьего завета; в тщетном ожидании великой перемены мы пробыли на улицах до утра, а затем разошлись по домам, измученные не бессонной ночью, а нашим нетерпеливым ожиданием; мы расходились по домам, бредя по улицам, усеянным звездными осколками, запорошенным звездной пылью, и женщины-метельщицы уже подметали этот небесный мусор, оставленный кометой, а мы все-таки все еще не хотели верить, что ничего не случилось, ничего не произошло, что мы стали жертвами величайшего исторического обмана — ведь официальные органы объявили благополучное прохождение кометы победой режима над силами зла; благополучное прохождение огненной медузы было использовано и для того, чтобы положить конец пересудам о странных болезнях президента, ибо разве болен человек, управляющий ходом небесных странниц? Было опубликовано его торжественное послание к народу, в котором он объявил о своем решении оставаться на своем посту вплоть до второго пришествия кометы. Гремела музыка, и взрывались фейерверки, которыми мы должны были отпраздновать его смерть и падение режима, но он был равнодушен к этой музыке и к транспарантам, с которыми пришли на площадь де Армас толпы народа, выкрикивающие то, что было начертано на транспарантах: «Вечная слава спасителю отечества! Да живет он века и расскажет о нас потомкам!» На все это он не обращал ни малейшего внима-

ния, не занимался даже самыми ответственными государственными делами, перепоручив их чиновникам, ибо его терзало воспоминание о том, как в его руке пылала ручка Мануэлы Санчес; он умирал от желания еще раз пережить этот миг счастья, даже если бы из-за этого изменилась природа вещей и повредилось все мироздание; он желал этого так страстно, что, в конце концов, стал просить ученых, чтобы они изобрели пиротехническую комету, летучую звезду, огненного небесного дракона, любое устройство, достаточно впечатляющее, чтобы вызвать у прекрасной юной женщины головокружение перед ликом вечности; однако единственное, что смогли пообещать ему ученые,— это полное солнечное затмение, в среду, на будущей неделе, в четыре часа пополудни; ему не оставалось ничего другого, как согласиться; затмение же получилось что надо, настоящая ночь наступила среди бела дня, зажглись звезды, закрылись цветы, куры уселись на насесты, забеспокоились собаки и кошки, а он сидел рядом с Мануэлой Санчес и вбирал в себя ее дыхание, ее легкое вечернее дыхание, которое становилось сладостным ночным дыханием, вбирал в себя запах розы, которая увядала, обманутая темнотой,— «Это только ради тебя королева это твоё затмение!» Но Мануэла Санчес ничего не ответила, не коснулась его руки, он больше не слышал ее дыхания — она показалась ему нереальной. И тогда он протянул руку, чтобы дотронуться до нее в темноте, но рука его встретила пустоту; кончиками пальцев он ощущал стул, на котором она только что сидела, стул еще хранил ее запах, но самой ее не было, она исчезла, и он стал искать ее по всему огромному дому, шаря руками по стенам и по углам, глядя во тьму сомнамбулическими глазами и горестно вопрошая: «Где ты Мануэла Санчес моего несчастья я ищу тебя и не нахожу в ночи твоего затмения где же твоя немилосердная рука где же твоя роза?» Он плыл во тьме, как заблудившийся в неведомых водах водолаз, плыл, натываясь то на фантастического лангуста — гальванометр, то на невиданные кораллы — часы с музыкальным боем, то на диковинных крабов, которые были приборами для иллюзионистских фокусов, но нигде в этих водах тьмы, в этом домескладе его подарков, он не находил Мануэлы Санчес, не слышал даже ее дыхания, подобного дыханию орхидеи, и по мере того как исчезали тени эфемерной ночи, он постигал свет безжалостной правды, свет, развеявший иллюзии. И в этот час рассвета, наступивший в шесть часов

электромеханический цех, чем на больничную палату. Неужто современная медицина местом воскрешения мертвых избрала цеха завода «Сименс-Шуккерт»?

— Минуточку,— сказал доктор Крис. Он был занят: выкатывал с середины комнаты какую-то машину туда, где, раздраженно подумал Штраус, ей и следовало быть. Убрав машину, он снова подошел к койке.— Прежде всего, доктор Штраус, есть много вещей, которые вам придется принять такими, как они есть, даже не пытаясь их понять. Не все в сегодняшнем мире объяснимо в терминах привычных для вас представлений. Постарайтесь помнить об этом.

— Хорошо. Продолжайте, пожалуйста.

— Сейчас,— сказал доктор Крис,— две тысячи сто шестьдесят первый год. Иными словами, со времени вашей смерти прошло двести двенадцать лет. Вы, конечно, понимаете, что от вашего тела за это время осталось лишь несколько костей, которые мы не стали тревожить. Тело, которое у вас теперь, родилось в наше время и было добровольно вам предоставлено. Сходство его с вашим прежним телом совсем невелико. Прежде чем вы посмотрите на себя в зеркало, вам следует знать и помнить, что, получив новое тело, вы оказались отнюдь не в проигрыше. Ваше нынешнее тело абсолютно здорово, довольно приятно на вид, и его физиологический возраст — около пятидесяти, а в наше время это поздняя молодость.

Чудо? Нет, никакое не чудо в новый век — просто достижение медицины. Но какой медицины!

— Где мы находимся? — спросил композитор.

— В Порт-Йорке, части штата Манхэттен, в Соединенных Штатах. Вы обнаружите, что в некоторых отношениях страна изменилась меньше, чем вы могли ожидать. Иные перемены, конечно, вас изумят, но какие именно, мне сказать трудно. Неплохо бы выработать в себе терпимость.

— Понимаю,— сказал Штраус; он приподнялся и сел в кровати.— Еще один вопрос. Возможно ли для композитора заработать себе на жизнь в этом столетии?

— Вполне,— с улыбкой ответил доктор Крис.— Как раз то, чего мы от вас и ожидаем. Это одна из причин, почему мы... вернули вас.

— Значит, моя музыка по-прежнему пользуется успехом? В свое время кое-кто из критиков...

— Дело обстоит не совсем так,— перебил его доктор Крис.— Насколько я понимаю, некоторые из ваших произведений исполняются до сих пор, но, откровенно говоря, об этой стороне дела я знаю очень мало. Меня скорее интересует, как...

Дверь отворилась, и появился еще один человек. Он был старше и плотнее Криса, в нем было что-то академическое, но, как и Крис, одет он был в хирургический халат странного покроя. Он окинул пациента горящим взглядом.

— Снова удача? — спросил он.— Поздравляю.

— Повремени,— сказал доктор Крис.— Важно завершающее испытание. Доктор Штраус, если вы чувствуете себя хорошо, мы с доктором Сейрдсом хотели бы задать вам несколько вопросов. Нам хотелось бы убедиться в ясности вашей памяти.

— Конечно. Прошу вас.

— По сведениям, которыми мы располагаем,— сказал доктор Крис,— вы были когда-то знакомы с человеком, чьи инициалы Р. К. Л.; вы были тогда дирижером венской «Штаатсопер».— Произнося это слово, он протянул двойное «а» по меньшей мере вдвое дольше, чем следовало, как если бы немецкий язык был мертвым, а доктор Крис стремился правильно воспроизвести произношение.— Как они расшифровываются и кто тот человек?

— Должно быть, это Курт Лист: его первое имя было Рихард, но он им не пользовался. Помощник импресарио, талантливый ученик того ужасного молодого человека, Берга... да, Альбана Берга.

Два доктора переглянулись, но казалось, что какое-то железное правило приказывает им скрывать свои чувства.

— Почему вы предложили написать увертюру к «Женщине без тени» и подарить городу Вене ее рукопись?

— Чтобы избежать необходимости платить налог за уборку мусора на вилле Марии-Терезы; эту виллу мне подарил город.

— На заднем дворе вашего имения в Гармиш-Партенкирхене был могильный камень. Что на нем было вырезано?

Штраус нахмурился. Он был бы счастлив, если бы не мог ответить на этот вопрос. Даже если тебе вдруг взбрело в голову сделать себя предметом собственных ребяческих шуток, лучше все же не увековечивать их в камне, тем более там, где

они оказываются у тебя перед глазами каждый раз, как ты идешь копать в своем «мерседесе».

— Там вырезано,— ответил он устало,— «Посвящается памяти Гунтрама, миннезингера, зверски убитого симфоническим оркестром его отца».

— Когда состоялась премьера «Гунтрама»?

— В... минуточку... по-моему, в тысяча восемьсот восемьдесят четвертом году.

— Где?

— Не в Веймаре ли?

— Да. Как звали примадонну?

— Полина де Аана.

— И после этого?..

— Я на ней женился.— Штраус взволнованно подался вперед.— Ее тоже?..

— Нет,— сказал Крис.— Мне жаль, доктор Штраус, но людей более или менее обычных мы воссоздать не можем: нам не хватает о них данных. Вы должны нам это простить.

Композитор вздохнул. Горевать ему или радоваться? Да, он любил Полину. Но с другой стороны, у него сейчас начинается новая жизнь. И говоря по совести, приятно, если, входя в дом, не надо обязательно разуваться только ради того, чтобы не поцарапать паркет. И наверное, будет приятно не слышать больше в два часа дня магическую формулу, которой Полина разгоняла гостей: «Рихард сейчас будет работать!»

— Следующий вопрос,— сказал он.

По причинам, непонятым для Штрауса (однако он принял это как должное, не задаваясь вопросами), ему пришлось расстаться с докторами Крисом и Сейрдсом сразу же после того, как оба они, к своему удовлетворению, убедились в том, что память его надежна и сам он здоров. Имение его, как ему дали понять, давным-давно превратилось в руины (печальный конец для того, что было когда-то одним из крупнейших частных владений в Европе), но денег, которые ему дали, оказалось достаточно, чтобы он смог обеспечить себя жильем и вернуться к активной жизни. Кроме того, ему помогли завязать полезные деловые знакомства.

Но даже к переменам в одной лишь музыке ему пришлось приспособливаться дольше, чем ожидал его достаточно реа-

листический ум. Музыка, как почувствовал он скоро, была теперь умирающим искусством, которому в ближайшем будущем предстояло оказаться примерно на таком же положении, какое в эпоху, которую он считал своей, было у икебаны, искусства составлять букеты. Тенденция к фрагментарности, отчетливо наметившаяся еще в его прежней жизни, в две тысячи сто шестьдесят первом году дошла почти до своего логического завершения.

Нынешние американские популярные песни интересовали его так же мало, как в его прежней жизни — их предшественницы, и однако, было совершенно ясно, что поточный метод, с помощью которого они создаются (ни один теперешний композитор, сочиняющий баллады, не скрывал, что пользуется похожим на логарифмическую линейку устройством, называемым «поп-машина»), применяется теперь и для сочинения почти всей серьезной музыки.

Консерваторами, например, считались теперь композиторы-додекафонисты. По мнению Штрауса, это всегда была сухая и умствующая публика, но никогда в такой мере, как теперь. Их кумиры (Шёнберг, Берг, Веберн, поздний Стравинский) стали теперь в глазах любителей музыки великими мастерами, не очень доступными, может быть, но достойными такого же поклонения, как Бах, Брамс или Бетховен.

Консервативной теперь, однако, считалась и группа более поздняя, в свое время превзошедшая в новаторстве даже додекафонистов. Музыка, которую создавали эти люди, называлась «стохастической», и выбор каждой отдельной ноты в ней осуществлялся по таблицам случайных чисел. Библией этого направления, его основополагающим текстом был том, озаглавленный «Операциональная эстетика», а его, в свою очередь, произвела на свет научная дисциплина, именованная теорией информации, и ни одно слово в этой книге не имело отношения к методам и приемам композиции, известным Штраусу. Идеалом, к которому стремилась группа, была «всеобъемлющая музыка» — такая, где и следа не осталось бы от композиторской индивидуальности, такая, что превращалась бы в музыкальное выражение всеобъемлющих законов случая. Несомненно, думал Штраус, у законов случая есть собственный, характерный только для них стиль, но это стиль игры малолетнего идиота, которого учат

барабанить по клавишам расстроенного рояля только для того, чтобы он не занялся чем-нибудь похуже.

Однако огромное большинство музыкальных произведений, создаваемых теперь, относилось к категории, совершенно неосновательно обозначавшейся термином «научная музыка». Ничем научным в ней и не пахло, если не считать названий музыкальных произведений; в названиях этих фигурировали космические полеты, путешествия во времени и тому подобные романтические или фантастические сюжеты. В самой же музыке ничего научного не было. Получалась мешанина штампов, подражаний и записей естественных шумов (часто настолько искаженных, что невозможно было угадать их происхождение), а также стилевых трюков, во многих из которых Штраус, к своему ужасу, обнаружил собственное стертое и покоровившееся от времени лицо.

Самой популярной формой «научной музыки» считалась девятиминутная композиция, называвшаяся концертом, хотя между ней и классической формой концерта не было ничего общего — скорее все это напоминало рахманиновскую свободно построенную рапсодию (напоминало, не более). Типичным был концерт «Песнь дальнего космоса», написанный неким Х. Валерионом Крафтом.

Исполнение началось громким вступлением на тамтаме, после которого струнные в унисон понеслись вверх по звукоряду; за ними, на почтительном расстоянии, следовали в параллельных шести четвертях арфа и одинокий кларнет. На самой вершине звукоряда загрели цимбалы, *forte possibile*, и оркестр, весь целиком, ринулся очертя голову в мажорно-минорную воющую мелодию — весь, кроме охотничьих рожков, потянувшихся вниз (это должно было означать контртемпу). Солирующая труба с намеком на тремоло подхватила вторую фразу темы, оркестр до нового всплеска впал в клиническую смерть, и в этот самый момент, как мог предвидеть любой младенец, вступил со второй темой рояль.

Позади оркестра стояли тринадцать женщин — хор без слов, долженствующий создавать, когда потребуется, ощущение жути космических пространств; но Штраус уже научился в такие моменты вставать и уходить. После нескольких таких уходов он мог быть уверен, что в фойе его поджидает Синди Нанесс, агент, с которым его свел доктор Крис и который взял на себя сбыт творческой продукции заново

родившегося композитора (новой, которая у того появится). Синди эти уходы клиента уже перестали удивлять, и он терпеливо ждал его, стоя под бюстом Джан Карло Менотти, но это нравилось ему все меньше и меньше, и в последнее время при виде выходящего Штрауса он начинал краснеть и бледнеть от раздражения.

— Вам не следовало этого делать! — взорвался он после случая с «Песней дальнего космоса». — Нельзя просто так вот встать и уйти с нового краффовского концерта. Как-никак он президент Межпланетного Общества Современной Музыки. Как мне убедить их в том, что вы тоже современный, если вы все время щелкаете их по носу?

— Какое это имеет значение? — возразил Штраус. — В лицо они меня все равно не знают.

— Ошибаетесь. Они знают вас очень хорошо и следят за каждым вашим шагом. Вы первый крупный композитор, за которого рискнули взяться психоскульпторы, и МОСМ был бы рад случаю от вас избавиться.

— Почему?

— О,— сказал Синди,— по тысяче причин. Скульпторы — снобы. Парни из МОСМа — тоже. Одни хотят доказать другим, что их вид искусства важнее всех прочих. А потом, ведь существует еще и конкуренция: лучше отделаться от вас, чем подпустить вас к рынку. Поверьте мне, будет лучше, если вы вернетесь в зал. Я придумаю какое-нибудь объяснение...

— Нет,— оборвал его Штраус.— Мне надо работать.

— Но в этом-то все и дело, Рихард! Как мы сможем поставить оперу без содействия МОСМа? Ведь это вам не соло для терменвокса или еще что-то, не требующее больших расх...

— Мне надо работать,— перебил его Штраус, поворачиваясь, чтобы уйти.

И он работал — так самозабвенно, как не работал ни над чем за последние двадцать лет своей прежней жизни. Стоило ему коснуться пером нотной бумаги (и то и другое найти оказалось невероятно трудно), как он понял: ничто в его долгом творческом пути не дает ему ключей к пониманию того, какую музыку он должен писать теперь.

Нахлынули и роем закружились вокруг него старые испы-

таннные приемы: внезапные смены тональностей на гребне мелодии; растягиванье пауз; разноголосица струнных в верхних октавах, нагромождаемая на качающуюся и готовую рухнуть кульминацию; сумятица фраз, молниеносно перелетающая от одного оркестрового хора к другому, мгновенные выходы меди, короткий смех кларнетов, рычащие тембровые сочетания (чтобы усилить драматизм) — в общем, все, что он умел и знал.

Но ни один из этих приемов теперь не удовлетворял его. Большую часть своей жизни он довольствовался ими и создал при их помощи многочисленные творения. Но пришло время начать все заново. Кое-какие из этих приемов теперь казались ему просто отталкивающими: с чего, например, он взял (и цеплялся за это убеждение десятки лет), что скрипки, завопившие в унисон где-то в стратосфере, — звук достаточно интересный, чтобы повторять его хотя бы в пределах одной композиции (а уж всех — и подавно)?

И ведь ни у кого никогда, с чувством ликования думал он, не было такой, как сейчас у него, возможности начать все сначала. Помимо прошлого, целиком сохраненного памятью и всегда ему доступного, он располагает арсеналом технических приемов, равного которому не было ни у кого; это признавали за ним даже враждебно настроенные к нему критики. Теперь, когда он пишет свою в известном смысле первую оперу (первую — после более чем двадцати!), у него есть все возможности сделать ее шедевром.

И кроме возможностей — желание.

Конечно, мешают всякие мелочи. Например, поиски старинной нотной бумаги, а также ручки и чернил, чтобы писать на ней. Выяснилось, что очень немногие из современных композиторов записывают свою музыку на бумаге. Большинство пользуются магнитофонной лентой: склеивают кусочки с записями тонов и естественных шумов, вырезанные из других лент, накладывают одну запись на другую и варьируют результаты, крутя множество разных ручек. Что же касается композиторов, пишущих партитуры для стереовидения, то почти все они чертят прямо на звуковой дорожке зубчатые извилистые линии, которые, будучи пропущенными через цепь из фотоэлемента и динамика, звучат довольно похоже на оркестр, с обертонами и всем прочим.

Закоренелые консерваторы, все еще писавшие музыку

нотами на бумаге, делали это через посредство музыкальной пишущей машинки. Машинку (этого Штраус не мог не признать) наконец усовершенствовали; правда, у нее клавиши и педали, как у органа, но размером она лишь в два с небольшим раза больше обычной пишущей машинки, и напечатанная на ней страничка выглядит прилично и опрятно. Однако Штрауса вполне устраивал его собственный, тонкий как паутина, но очень разборчивый почерк, и он вовсе не собирался от него отказываться, хотя единственное перо, какое ему удалось достать, делало почерк толще и грубее. Старинный способ записи помогал Штраусу сохранить связь с прошлым.

При вступлении в МОСМ тоже не обошлось без неприятных моментов, хотя при содействии Синди он благополучно миновал рогатки политического характера. Секретарь Общества, решавший вопрос о его членстве, опросил его, обнаруживая не больший интерес, чем проявил бы ветеринар, обследующий четырехтысячного по счету большого теленка:

— Печатали что-нибудь?

— Да. Девять симфонических поэм, около трехсот песен, одну...

— Не при жизни.— В голосе экзаменатора появилось что-то неприятное.— С тех пор, как скульпторы вас сделали.

— С тех пор, как скульпторы?.. О, я понимаю. Да. Струнный квартет, два песенных цикла...

— Хватит. Элфи, запиши: песни. На чем-нибудь играете?

— На фортепиано.

— Хм.— Экзаменатор внимательно оглядел свои ногти.— Ну ладно. С листа читаете? Или, может, пользуетесь «Писцом» или резаной лентой? Или машинкой?

— Читаю.

— Сядьте.

Экзаменатор усадил Штрауса перед освещенным экраном, поверх которого ползла широкая прозрачная лента. На ленте была во много раз увеличенная звуковая дорожка.

— Просвистайте мне и назовите инструменты, на которые это похоже.

— Эти каракули я не читаю,— ледяным тоном ответил Штраус.— И не пишу. Я пишу обычными нотами, на нотной бумаге.

— Элфи, запиши: читает только ноты.— Он поставил

перед стеклом экрана лист плохо отпечатанных нот.— Просвистите мне это.

«Это» оказалось популярной песенкой «Вэнги, sniffтеры и кредитный снуки», написанной при помощи поп-машинки в две тысячи сто пятьдесят девятом году политиком-гитаристом, певшим ее затем на предвыборных собраниях. (В некоторых отношениях, подумал Штраус, Соединенные Штаты и в самом деле мало изменились.) Песенка эта была так популярна, что любой насвистал бы ее по одному названию, независимо от того, мог он или не мог прочесть ноты. Штраус просвистал ее и, чтобы не возникло сомнений в его добросовестности, добавил:

— Она в тональности си-бемоль мажор.

Экзаменатор подошел к зеленому пианино и ударил по замусоленной черной клавише. Инструмент был расстроен до невероятности (прозвучавшая нота была куда ближе к обычному ля частотой в четыреста сорок герц, чем к си-бемоль), но экзаменатор сказал:

— Точно. Элфи, запиши: «Читает также бемоли». Ну что ж, сынок, теперь ты член Общества. Приятно знать, что ты с нами. Не так много осталось людей, которые еще могут читать старинные ноты. Многие воображают, что слишком хороши для этого.

— Благодарю вас,— ответил Штраус.

— Я лично считаю, что если эти ноты годились для старых мастеров, то они вполне годятся и для нас. Мое мнение такое, что равных старым мастерам среди нас нет — не считая, конечно, доктора Краффта. Да, великие были люди, эти самые Шилкрит, Стайнер, Темкин, Пэрл... Уайлдер, Янссен...

— Разумеется,— вежливо сказал Штраус.

Все шло своим чередом. Теперь он уже кое-что зарабатывал — небольшими вещами. По-видимому, у публики был повышенный интерес к композитору, вышедшему из лаборатории психоскульпторов; но и сами по себе (на этот счет у Штрауса не было никаких сомнений) его сочинения обладали достоинствами, которые неизбежно должны были создать спрос.

Однако по-настоящему важной была для него только опера. Она росла и росла под его пером, молодая и новая, как

его новая жизнь; питаемая, как и его всеобъемлющая память, почвой знания и зрелости. Сначала возникли затруднения: он никак не мог подобрать для нее либретто. Не исключалось, что в море литературы для стереовидения (хотя он в этом и сомневался) может найтись что-нибудь подходящее; однако в этой сфере он был не в состоянии отличить хорошее от плохого из-за бесчисленного множества непонятных для него технических терминов. В конце концов, в третий раз за весь свой творческий путь, он обратился к пьесе, написанной на языке, который не был для него родным, и в первый раз решил пьесу на этом языке поставить.

Пьеса эта, «Видна Венера» Кристофера Фрая, представляла собой, как он постепенно начал понимать, идеальное либретто для его оперы. Якобы комедия, но со сложной фарсовой фабулой, эта пьеса в стихах обнаруживала неожиданную глубину, а ее персонажи, казалось, ждали, чтобы музыка вывела их в три измерения; и ко всему этому скрытое в подтексте, но совершенно определенное настроение осенней трагедии, опадающих листьев и падающих яблок — противоречивая и полная драматизма смесь, именно такая, какой в свое время снабдил его фон Гофмансталь для «Рыцаря розы», для «Ариадны на Наксосе» и для «Арабеллы».

Увы, фон Гофмансталь больше не может помочь ему; зато нашелся другой, тоже давно умерший драматург, почти такой же одаренный, как фон Гофмансталь. И какие огромные музыкальные возможности! Например, пожар в конце второго акта: какой материал для композитора, стихия которого — оркестровка и контрапункт! Или, например, момент, когда Перпетуа стрелой выбивает яблоко из рук герцога; одной беглой аллюзией в этот миг можно вплести в ткань его оперы rossinievского мраморного «Вильгельма Телля», становящегося всего лишь ироническим примечанием! А большой заключительный монолог герцога, начинающийся со слов:

Будет ли жаль себя мне? Да, за смертность
Мне будет жаль себя. Стволы и ветви,
Бурые холмы, долины в дымке,
Зеркальную гладь озера...

Монолог, будто специально написанный для великого трагического комика в духе Фальстафа: завершающее слияние смеха и слез, прерываемое сонными замечаниями Рийд-

бека, под звучный храп которого (тромбоны, не меньше четырех; может быть, с сурдинами?) медленно опустится занавес...

После десяти страниц фразеологической пьесы его муза снова улыбалась ему: опера была у него в руках.

Организуя постановку, Синди творил чудеса. Дата премьеры была объявлена задолго до того, как была закончена партитура, и это приятно напомнило Штраусу те горячие деньки, когда Фюрстнер хватал с его рабочего стола каждую новую страницу завершаемой «Электрики», не дожидаясь, когда на ней просохнут чернила, и мчался с ней к граверу, чтобы успеть к назначенному для публикации сроку. Теперь было еще трудней, потому что часть партитуры должна была быть написана прямо на звуковой дорожке, часть — склеена из кусочков ленты, а часть — выгравирована по старинке, соответственно требованиям, предъявлявшимся новой театральной техникой, и Штраусу временами начинало казаться, что бедный Синди, того гляди, поседеет.

Но, как обычно бывало со Штраусом, «Видна Венера» потребовала для своего завершения длительного времени. Писать черновик было дьявольски трудно, и на новое рождение это походило гораздо больше, чем то мучительное пробуждение в лаборатории Баркуна Криса с воспоминанием о смерти. Но одновременно Штраус обнаружил, что у него целиком сохранилась прежняя способность почти автоматически писать с черновика партитуру — способность, на которую не влияли ни сетования присутствовавшего Синди, ни ужасающий сверхзвуковой грохот пассажирских ракет, с быстротой молнии пронесшихся над городом.

Он кончил все за два дня до начала репетиций. Репетиции должны были идти без его участия. Исполнительская техника в эту эпоху настолько тесно сплелась с электронным искусством, что его собственный опыт (его, короля капельмейстеров!) оказывался безнадежно устаревшим.

Он не спорил. Музыка скажет сама за себя. А пока приятно отвлечься на время от работы, которой он в течение года отдавал всего себя. Он снова вернулся в библиотеку и стал перебирать подряд старые стихи в поисках текстов для одной-двух песен. Новых поэтов он обходил: они ничего не могли сказать ему, и он это знал. Но ему хотелось верить, что у американцев его эпохи он наверняка найдет ключ к по-

ниманию Америки 2161 года; а если вдобавок какое-нибудь из стихотворений даст рождение песне — тем лучше.

Поиски эти действовали на него необычайно благотворно, и он ушел в них с головой. В конце концов он наткнулся на магнитофонную запись, которая пришлась ему по душе: запись надтреснутого старческого голоса с гнусавым акцентом штата Айдахо 1900 года. Поэт, которого звали Эзра Паунд, читал:

.....души людей великих
По временам сквозь нас проходят,
И растворяемся мы в них, и наша суть —
Лишь отражения их душ.
Вот только что был Данте я, и вдруг
Я — некий Франсуа Вийон, король баллад и вор,
Или один из тех, таких святых,
Что их имен не смею написать,
Дабы кошунствующим не прослыть.
Всего на миг — и пламени уж нет...

Вот час, когда мы быть перестаем,
А те, душ повелители, живут.

Он улыбнулся. Сколько написано об этом со времен Платона! И в то же время стихотворение как бы о нем самом, оно словно объясняет метемпсихоз, в который он оказался вовлечен, и при этом волнует своей формой. Пожалуй, стоит сделать из него гимн в честь своего собственного второго рождения и в честь провидческого гения поэта.

Внутренним слухом он услышал торжественную поступь аккордов, от которой перехватывало дыхание. Начальным словам можно придать звучание патетического шепота, потом — полный драматизма пассаж, в котором великие имена Данте и Вийона встанут, звеня, как вызов, брошенный Времени... Он начал писать и только потом, уже кончив, поставил старинный валик на стеллаж.

«Доброе предзнаменование», — подумал он.

Наступил вечер премьеры. В зал потоком хлынула публика, в воздухе без всякой видимой опоры плавали камеры стереовидения, и Синди уже вычислял свою долю от дохода клиента при помощи сложной игры на пальцах, главное правило которой состояло, по-видимому, в том, что один плюс один в сумме дают десять. Публика, заполнившая зал, была

самой разношерстной, будто предстояло цирковое представление, а не опера.

К его удивлению, в зале появилось также и около пятидесяти бесстрастных, аристократичных психоскульпторов, в их черно-алых халатах. Они заняли целую секцию кресел в передних рядах, откуда гигантские фигуры стереовидения, которым вскоре предстояло заполнить «сцену» перед ними (в то время как настоящие певцы будут находиться на небольшой эстраде в подвале), должны казаться чудовищно огромными; Штраус подумал, что психоскульпторы, наверное, об этом знают, но тут же мысли его заняло что-то другое.

Стоило появиться первым психоскульпторам, как шум голосов усилился, и теперь в зале ощущалось возбуждение, смысл которого Штраусу был непонятен. Раздумывать над этим он, однако, не стал, он был поглощен борьбой с собственным волнением, которое всегда испытывал в вечер премьеры и от которого за столько лет жизни ему так и не удалось избавиться до конца.

Мягкий, неизвестно откуда льющийся свет потускнел, и Штраус поднялся на возвышение. Перед ним лежала партитура, но он подумал, что едва ли она будет ему нужна. Между музыкантами и микрофонами высовывались рыла неизбежных камер стереовидения, готовые понести его образ к певцам в подвале.

Публика умолкла. Наконец-то пришло его время! Его палочка взметнулась вверх, потом стремительно ринулась вниз, и снизу, из оркестра, навстречу ей мощной волной поднялась первая тема. Свет стал ярче, и все увидели домашнюю обсерваторию герцога с напоминающим фаллос телескопом, и там, в этой обсерватории, началась вступительная сцена, богатая музыкальными реминисценциями, вполне заменявшими прелюдию, так как позволяла сразу ввести все основные лейтмотивы.

На какое-то время его внимание целиком поглотила всегда нелегкая задача следить за тем, чтобы большой оркестр слаженно и послушно следовал всем изгибам музыкальной ткани, возникающей под его рукой. Но по мере того как его власть над оркестром крепла, задача эта стала предъявлять к нему несколько меньше требований, и он мог уделить теперь внимание звучанию целого.

А вот с ним, звучанием целого, явно было что-то не то. Отдельных неприятных сюрпризов, конечно, можно было ожидать: то или другое место звучит при исполнении оркестром иначе, чем ты рассчитывал. Такое бывает с каждым композитором, даже если за плечами у него опыт всей жизни. И были моменты, когда певцы, начиная фразу, справиться с которой оказывалось труднее, чем он ожидал, становились похожими на канатоходца, который вот-вот свалится с каната (хотя на самом деле ни один из них ни разу еще не сфальшивил; с лучшей группой голосов ему не приходилось работать).

Но это были лишь детали. Беда заключалась в звучании целого. Не только радостное волнение премьеры покидало его теперь (оно в конце концов не могло оставаться весь вечер одинаково сильным) — пропадал даже интерес к тому, что доносится до его слуха со сцены и из оркестра. А потом им начала постепенно овладевать усталость. Рука, державшая дирижерскую палочку, становилась все тяжелее и тяжелее. Когда в первом акте настало время для того, что должно было стать бурлящим и блещущим страстью потоком звуков, он обнаружил, что ему скучно, страшно скучно и хочется вернуться за свое бюро и поработать над песней на слова Эзры Паунда.

Первый акт кончился; впереди оставалось два. Аплодисменты прошли мимо его ушей. Двадцатиминутного отдыха в его комнате едва хватило, чтобы восстановить силы. Он был ошеломлен. Казалось, что музыку написал кто-то другой, хотя он ясно помнил, как писал каждую ее ноту.

И уже в середине последнего акта он вдруг понял.

В музыке не было ничего нового. Это был все тот же Штраус — но только слабее, жижее прежнего, как будто какой-то злой волшебник вдруг превратил его в усталого старого неудачника, в ту карикатуру на него, которую критики выдумали в самые лучшие его годы. По сравнению с продукцией композиторов подобных Краффту, «Видна Венера» в глазах этой публики, несомненно, была шедевром. Но он-то не мог скрыть от себя правду, как не мог бы скрыть ее от себя в прежние дни — окажись критики тогда правы. Тогда они ошибались; но теперь вся его решимость порвать со штампами и вычурностью, вся его тяга к новому обернулись ничем только потому, что на пути их встала сила при-

вычки. Возвращение к жизни его, Штрауса, означало в то же время возвращение к жизни всех этих глубоко запечатленных в нем рефлексов его стиля. Стоит ему взяться за перо, как они овладевают им совершенно автоматически, не более доступные его контролю, чем палец, отдергиваемый от пламени, и настолько лишенные подлинной жизни, что возникает вопрос: а была ли когда-нибудь вообще в его жилах хотя бы капля божественной крови?..

К глазам подступили слезы. Тело у него молодое, но сам он старик... да, старик. Еще тридцать пять лет такой жизни? Никогда, никогда! Все это было им сказано еще сотни лет назад. Быть осужденным на то, чтобы еще полвека снова и снова повторять самого себя голосом, который звучит все слабее и слабее, и знать, что даже это жалкое столетие рано или поздно поймет, что от величия остался лишь пепел? Нет, никогда!

Он не сразу понял, что опера кончилась. Стены сотрясал восторженный рев публики. Он знал этот звук: они так же ревели на премьере «Дня мира» в 1938 году. Здесь аплодировали человеку, которым он был когда-то, а не тому, которым, как с беспощадной ясностью показала «Видна Венера», он стал теперь, — о, если бы только у них были уши, чтобы слышать! Аплодисменты невежества — неужели ради них был весь его тяжкий труд? Нет. Он их не примет.

Он медленно повернулся лицом к залу — и чуть не потерял над собой контроль, а потом, как ни странно, почувствовал даже облегчение оттого, что аплодируют не ему.

Аплодировали доктору Баркуну Крису.

Крис раскланивался, встав со своего места посреди секции психоскульпторов. Психоскульпторы, занимавшие места по соседству с ним, отталкивали друг друга, чтобы скорее позвать ему руку. Все новые и новые руки тянулись к руке Криса, пока тот пробирался к проходу между рядами, а потом шел по проходу к сцене. Когда же Крис поднялся к дирижерскому пульту и сам взял вялую руку композитора, публика, казалось, обезумела.

Крис поднял руку, и в один миг в зале воцарилась напряженная тишина.

— Благодарю вас, — проговорил он громко и отчетливо. — Дамы и господа, прежде чем мы расстанемся с доктором Штраусом, давайте снова скажем ему, какое огромное

удовольствие мы испытали, слушая это его новое великолепное произведение. Я думаю, такое прощание будет наилучшим.

Овация длилась пять минут и продолжалась бы еще столько же, если бы Крис не оборвал ее.

— Доктор Штраус,— продолжал он,— в миг, когда я произнесу определенное слово, вы осознаете, что вы Джером Бош, человек, родившийся в нашем столетии и имеющий свою собственную жизнь. Искусственно введенные в вашу психику воспоминания, заставившие вас надеть на себя личину великого композитора, исчезнут. Мы очень хотели бы, чтобы Рихард Штраус остался с нами и прожил среди нас еще одну жизнь, но законодательство, регулирующее психоскульптуру, не позволяет нам навсегда исключить из жизни донора вашего тела, который имеет право на свою собственную долгую жизнь. Я говорю вам об этом для того, чтобы вы поняли, почему сидящие здесь люди делают свои аплодисменты между вами и мной.

Слова Криса прервал гул одобрения.

— Искусство психоскульптуры (создание искусственных личностей ради эстетического наслаждения), возможно, никогда более не достигнет такой вершины. Знайте: как Джером Бош вы были абсолютно лишены каких бы то ни было музыкальных способностей; мы потратили много времени на поиски донора, который был бы не способен запомнить даже простейший мотив. И однако, в такой малообещающий материал нам удалось вложить не только личность, но и гений великого композитора. Гений этот принадлежит исключительно вам, той личине Джерома Боша, которая считает себя Рихардом Штраусом. За донором вашего тела заслуги здесь нет никакой. Это ваш триумф, доктор Штраус, и чествуем мы именно вас.

Овация вышла из берегов. Криво улыбаясь, Штраус смотрел, как кланяется доктор Крис. Эта их психоскульптура достаточно утонченный, на уровне века, вид жестокости; но само по себе стремление к такого рода вещам существовало всегда. То стремление, которое побуждало Рембрандта и Леонардо превращать трупы в произведения искусства.

Что ж, утонченная жестокость заслуживает столь же утонченного воздаяния: око за око, зуб за зуб — и неудача за неудачу.

Нет, не стоит говорить доктору Крису, что в Рихарде Штраусе, которого он создал, гения так же мало, как в сушеной тыкве. Он и так подшутил над собой, этот скульптор: сумел подделать великого композитора, но так никогда и не поймет, насколько пуста музыка, которая будет теперь храниться на лентах стереовидения. Домашнее задание по музыкальной критике Крис выполнил хорошо, по музыке — неудовлетворительно; и, по трудам своим, получил не настоящего Штрауса, а Штрауса критиков. Что же, пусть, если это его устраивает...

Но на какой-то миг словно мятежное пламя взметнулось в его жилах. «Я — это я, — подумал он, — я останусь Рихардом Штраусом до самой смерти и никогда не стану Джеромом Бошем, не способным запомнить даже самый простой мотив». Его рука, все еще державшая дирижерскую палочку, резко поднялась, но для того ли, чтобы нанести удар или чтобы отвести, он сказать не мог.

Он дал ей упасть и поклонился — не публике, а доктору Крису.

Он ни о чем не жалел, когда Крис повернулся к нему, чтобы произнести слово, которое низвергнет его в смерть, — жалел лишь о том, что теперь ему уже никогда не положить те стихи на музыку.

Альфред Ван Вогт

Банка с краской

Тормозные ракеты сработали лучше не придумаешь. Маленький межпланетный корабль тихонько опустился на открытую лужайку в середине длинной, узкой изумрудной долины. Несколько минут спустя первый человек, когда-либо ступавший на поверхность Венеры, неловко выкарабкался наружу и ступил на упругую траву рядом с сигарообразным звездным кораблем.

Килгор медленно и глубоко вздохнул. Воздух был как вино, чуть-чуть переокисленный, но удивительно приятный, свежий и теплый. Внезапно ему пришло на ум, что он очутился в раю. Он вынул блокнот и записал свое впечатление. Любые подобные мысли принесут ему тысячи, когда он вернется на Землю. А деньги ему, несомненно, очень понадобятся.

Килгор закончил записи и уже прятал блокнот в карман, когда вдруг увидел этот куб.

Тот лежал на траве в углублении, словно упал с небольшой высоты. Он был полупрозрачный, с ручкой на одной стороне. Каждая грань куба была около восьми дюймов в длину, и весь он светился матовым белым светом. Догадаться о его назначении Килгор и не пытался.

Он вынес из планетолета несколько энергетических тестеров и опробовал странный куб, прикасаясь ко всем его сторонам оголенными проводами. Пробы оказались удивительными. Никаких следов электричества, никакой радиоактивности. Кроме того, этот куб не реагировал ни на одну из примененных им кислот. Килгор отказался от мысли пропустить через него электрический ток, а также от соблазна вскрыть его светящуюся оболочку. Он надел резиновую перчатку и прикоснулся к кубу. Ничего не произошло. Он нежно погладил куб рукою в перчатке и наконец твердо ухватился за выступающую ручку. Однако снова ничего не произошло.

Килгор поколебался, потом поднял куб. Это оказалось

нетрудно: он весил фунта четыре. Килгор опустил непонятный предмет на траву и отступил на шаг, не спуская с него глаз. Смутная догадка забрезжила у Килгора. А когда наконец до него дошло, Килгора затрясло от возбуждения.

Куб — искусственный! Значит, на Венере есть разумные существа. Целый год, бесконечный год в космосе он размышлял об этом, мечтал, надеялся... И вот — доказательство. Венера обитаема.

Килгор метнулся к планетолету. «Найти город,— думал он.— Найти город!» Теперь незачем экономить горячее. Теперь он сможет его восполнить.

Уже на бегу в поле зрения Килгора снова попал куб, и космонавт сразу призадумался. Что же с ним делать? Оставить? Глупо. Потом он вряд ли отыщет эту долину. Взять в планетолет? Нет, тут нужно соблюдать осторожность. А что, если эту штуку подложили здесь специально для него?

Мысль была настолько фантастической, что почти все опасения Килгора рассеялись. Еще пару проб и... Он снял перчатку и прикоснулся к ручке голым пальцем.

«Во мне краска!» — отчетливо прозвучало в голове Килгора.

Килгор отскочил. Какое-то восклицание застряло у него в горле. Он дико оглянулся. Кругом все та же зеленая долина, и он здесь один, насколько хватает глаз.

Внимание его снова сосредоточилось на кубе. Еще одно осторожное прикосновение к ручке.

«Во мне краска!»

Сомнений не оставалось. Мысль ясно и резко прозвучала в его мозгу. Килгор медленно выпрямился.

Потрясенный, стоял он и смотрел на свою находку. В течение нескольких бесконечных секунд он мучительно пытался осмыслить, до каких же высот технического развития поднялись неведомые существа, создавшие такую банку с краской! Потом разум его не выдержал и в панике отступил. Килгор развеселился. Как ни проста была эта штука, ученые Земли даже не подозревали о подобных возможностях. Банка с краской, которая говорит... Банка, которая мыслит и мысли свои передает телепатически!

Килгор улыбнулся. Его длинное добродушное лицо покрылось веселыми морщинками, серо-зеленые глаза сверкнули, губы растянулись, обнажив белую полоску

зубов, и наконец он громко расхохотался. Банка с краской! Наверное, в ней не только белила, олифа и красящие окислы. Но это он увидит позднее. А пока одной такой находки было вполне достаточно. Теперь неважно, найдет он здесь еще что-нибудь или нет, — его полет на Венеру уже себя окупил. Именно на таких вот простых, повседневных вещах наживаются больше всего. Килгор быстро нагнулся и поднял банку за ручку голой рукой.

Внезапно сверкающая струя ударила ему в грудь. Жидкость была липкой, как клей, и в то же время необычайно текучей. Сначала она казалась белой, потом начала расплываться красными, желтыми, синими и фиолетовыми пятнами, дробиться на множество ярчайших оттенков, и под конец мокрая одежда Килгора засверкала всеми цветами радуги. Он был просто взбешен. Тревога пришла позднее.

Килгор начал раздеваться. На нем была только спортивная куртка и шорты, больше ничего. Обе вещи мелькнули, как цветной фейерверк, когда он расстегнул пояс и рывком потянул куртку через голову. Килгор почувствовал, что жидкость смачивает его обнаженное тело. Но только стянув куртку с головы и сбросив шорты к лодыжкам, он заметил весьма неприятную вещь: краска, попавшая главным образом на куртку, теперь вся перешла на его кожу. На траву не упало ни одной капли. И на шорты тоже.

Вся краска осталась на нем. Растягиваясь и утончаясь, она стала еще ослепительней. Когда Килгор пытался вытереть ее курткой, она сверкала, как пламя, если смотреть на него сквозь призму. Но она не стиралась. Нахмурившись, Килгор попробовал снять ее руками. Теплая клейкая жидкость слегка липла к пальцам, вспыхивала, переливалась, но стряхнуть ее было невозможно. Когда он с силой нажимал на одно место, краска просто переползала на другое.

Краска казалась единой массой, от которой немислимо оторвать малейшую частицу. Она поддавалась лишь до определенного предела, но больше. Пятно принимало любую форму. И оставалось единым. Подобно живой бесконечно тонкой и мягкой шали с необычайным пестрым узором, она обволакивала тело без просветов и без разрывов. Прошло десять минут, а Килгор по-прежнему ничего не мог с ней поделать.

«Краску можно удалить с помощью скипидара», — громко

прочел он в своем медицинском справочнике. Скипидар в аптечке был. Килгор достал бутылку и снова вылез из планетолета. Щедро налив скипидара в пригоршню, он принялся яростно растираться. Ну вот, он прибег к помощи скипидара. А что толку? Скипидар просто стек с рук на траву. Краска отталкивала жидкость.

Ошеломленный Килгор предпринял немало попыток, прежде чем в это поверил. Наконец, все еще не теряя надежды, он вернулся в планетолет и быстро перепробовал все что мог: воду, бензин, вино и даже свое драгоценное ракетное горючее. Краска отталкивала все. Он влез под душ. Вода струилась по незакрашенным частям тела, но там, где прилеилась краска, Килгор не чувствовал ничего.

А главное — краска совершенно не смывалась.

Килгор наполнил ванну и сел в воду. Краска поползла вверх, собираясь вокруг шеи и под подбородком, потом вдруг двинулась дальше. В рот и ноздри она не проникла, но закрыла и то, и другое. Задержав дыхание, Килгор продолжал упрямо сидеть в воде. Но вот он почувствовал, как многоцветная пленка подбирается к самым его глазам... Килгор выскочил из воды и поспешно нырнул в ванну головой вниз.

Краска отступила от носа, на какой-то миг задержалась у рта, затем сползла до подбородка, но здесь решительно остановилась. Сколько Килгор ни нырял, стараясь погрузить голову как можно ниже, краска держалась на уровне подбородка. Добравшись до головы, она, очевидно, покинуть ее не собиралась.

Килгор расстелил прорезиненный коврик на своем любимом кресле, сел и погрузился в мрачные размышления. Какая идиотская история! Если хоть кто-нибудь о ней узнает, он сделается посмешищем на всю солнечную систему! Кто-то случайно оставил или потерял банку с краской на этом лугу в необитаемой части Венеры, и вот теперь он сидит здесь как сверкающий всеми цветами радуги попугай...

Быстрота, с какой краска покрыла нос и рот Килгора, убедила его, что эта дурацкая штука может быть смертельно опасной. А что, если б она не сползла вниз? Страшно подумать! Он задохнулся бы через пару минут, и сейчас в наполненной ванной колыхался бы его радужный труп.

Холодный озноб побежал по спине Килгора. Дрожь не утихла даже тогда, когда он сообразил, что легко мог бы

вставить в рот трубку и дышать через нее. Ведь немыслимое вещество лишь по чистой случайности не добралось до его глаз! Содрогаясь, он представил себе, как слепой, задыхающийся голый человек ощупью ищет трубку в загроможденной кладовой...

Прошло несколько мучительных минут, прежде чем к Килгору вернулась крупица прежней бодрости. Он сидел неподвижно и напряженно думал. Краска. Сама вылетает из банки. Не сохнет. И на жидкость не похожа, потому что не пачкает одежду и не льется по законам тяготения. И сама отталкивает все жидкости...

Здесь Килгор замер, потрясенный внезапным озарением. Ну конечно! Как же он раньше не сообразил! Это не простая краска. Это краска водостойкая и водонепроницаемая, водоотталкивающая и нерастворимая, абсолютная и совершенная!

Килгор вскочил и взволнованно забегал по кабине. Вот уже двадцать пять лет, с тех пор как первые мощные ракетопланы достигли мертвой Луны, а затем полупустынного Марса, Венера дразнила и влекла к себе всех исследователей. Но полеты на Венеру были запрещены до тех пор, пока не будет найдено средство преодоления зоны сильного солнечного излучения. Солнце неумолимо пожирало космические корабли. Так погибло уже два планетолета. И ученые с математической точностью доказали, что такая же страшная участь ждет любой корабль, пока Земля и Венера не займут совершенно определенное положение относительно друг друга и Юпитера.

Идеальные условия ожидалось лишь через двадцать восемь лет. Но вот один знаменитый астроном заявил — это было за полгода до старта Килгора, — что в течение ближайших двенадцати месяцев если не все, то ряд условий для перелета будет наиболее благоприятным. Его выступление взбудоражило космонавтов. И хотя правительство отказалось снять запрет, один из высших офицеров патрульной службы частным образом заявил, что, если кто-нибудь все-таки полетит, он, пожалуй, этого не заметит. А что касается обязательной предполетной тренировки, то это тоже он берет на себя. Многочисленные экспедиции, официально отправляющиеся на Марс, бешеными темпами вели подготовку

к старту, когда маленький планетолет Килгора устремился в пространство. Он летел к Венере.

От Венеры ожидали многого. Но не настолько. Килгор остановился как вкопанный. Существа, способные создать совершенную краску, что угодно совершенное,— о, с ними стоило познакомиться!

На этом его размышления оборвались. Он снова увидел свое раскрашенное тело. Но теперь он заметил нечто страшное. Сверкая миллионами разноцветных, переливающихся пятен, краска медленно расползлась все шире и шире. Сначала она покрывала четверть его тела. А теперь растеклась на добрую треть. Если так пойдет дальше, краска скоро покроет его от макушки до пят, затянет рот, нос, глаза, уши и все прочее... Снова Килгор начал думать, как же ему от нее избавиться. И думать всерьез.

«Идеальная краска,— записал Килгор,— должна быть красивой, водонепроницаемой и стойкой. В то же время она должна легко сниматься».

Он мрачно перечел фразу, потом в ярости швырнул карандаш и отправился в ванную, к зеркалу. Со злобной усмешкой уставился Килгор на свое отражение.

— Хорош! — обратился он к своему раскрашенному двойнику.— Ну и красавчик! Настоящая цыганка из хора!

Впрочем, как он сам в этом убедился, приглядевшись получше, зрелище он теперь представлял собой очень красочное. Он сверкал примерно сотней оттенков. Различные их сочетания не сливались. Они возникали с ослепительной яркостью, и чем тоньше были комбинации, тем они казались сочнее и отчетливее. Несмотря на это, краска каким-то непонятным образом не казалась кричащей. Она была яркой, но не резала глаз. Она сверкала и тем не менее не очень оскорбляла вкус Килгора. Он подсмеивался над собой, однако в течение нескольких минут не в силах был отвести глаз от чудесных переливов многоцветного сияния.

Наконец Килгор отвернулся. «Если мне удастся отделить хоть чайную ложку этой жижи,— подумал он,— я солью ее в реторту и сделаю анализ».

Он попробовал. Попробовал еще раз с внезапной надеждой. Краска легко собиралась в ложке, но едва он пытался ее отвести, снова соскальзывала на тело. Килгор взял нож и по-

пытался удержать краску в ложке. Многоцветная пленка проскальзывала под лезвие, как жидкое масло.

Килгор решил, что недостаточно сильно прижимает нож к ложке. В кладовой он отыскал маленькую баночку с герметической крышкой, удерживаемой винтами. Она была слишком маленькой и круглой: за один раз ему удалось собрать в нее совсем немного краски. А для того чтобы закрутить винты, потребовалось больше минуты. Зато когда он открыл баночку, на дне ее оказалась лужица краски.

Килгор вернулся в кабину управления и сел в кресло. Он чувствовал странное неприятное недомогание. Голова кружилась. Прошло немало минут, прежде чем он смог придумать, что же делать дальше. Логически рассуждая, нужно было только постараться, и, если он будет аккуратен, ему удастся этим способом снять всю краску. Но сначала... Он вылил краску в мензурку с делениями. Ее оказалось чуть больше десертной ложки. Таких ложек на его теле около пятисот. Значит, вся операция займет — Килгор засек время и собрал в баночку вторую порцию краски — пятьсот раз по две минуты в среднем дает тысячу минут. Семнадцать часов!

Килгор уныло хмыкнул и отправился в кухню. За эти семнадцать часов ему придется подкрепляться раз пять, и эта будет первой трапезой. Пережевывая пищу, Килгор обдумывал ситуацию со спокойствием человека, который уже нашел выход и теперь размышляет о других возможностях. Семнадцать часов — долгий срок. Но ведь у него есть несколько ложек краски в мензурке. В своей маленькой химической лаборатории он наверняка сумеет найти дюжину реакций, которые снимут с него всю эту гадость за несколько минут.

Возможно, это удалось бы ему в настоящей, хорошо оснащенной лаборатории. Но не в такой маленькой. Краска отказывалась реагировать на все вещества и растворители, которые у него имелись. Она не вступала в реакцию ни с металлами, ни с кислотами и сама ни на что не оказывала влияния. Даже в качестве катализатора. Краска была инертной. Килгору пришлось сделать паузу.

— Ну разумеется! — заорал он, внезапно осененный. — Как же я мог забыть? Эта штука стойкая, и стойкая с главного «С». Это же совершенная краска!

Оставался единственный способ, и Килгор вернулся к нему. После некоторой тренировки он наловчился завинчивать

и отвинчивать зажимы крышки на баночке с такой скоростью, что снимал с себя по чайной ложке краски каждые сорок пять секунд. Главное — темп и ритм. Он так этим увлекся, что набрал почти полведра, прежде чем обратил внимание на одно ужасное обстоятельство: количество краски на его теле не уменьшалось.

Килгор затрясся. Лихорадочно измерил краску в ведре. Сомнений не было: он перенес туда примерно столько же краски, сколько вылилось на него из полупрозрачного куба. И еще примерно столько же осталось на нем. Идеальная краска: нанесенная на какую-либо поверхность, она самопроизводилась.

Килгор приписал это в конце перечня особенностей краски. Потом он заметил, что обильно потеет. Пот крупными каплями выступал на незакрашенных частях тела. Это подало Килгору новую мысль. Он дотянулся до блокнота и добавил еще одну запись: «Совершенная краска умеренно охлаждает покрытую ею поверхность и не проводит тепла».

Через полчаса он уже утратил способность объективно мыслить. Краска покрыла почти половину его тела. От работы ему стало невыносимо жарко — казалось, он варится заживо в собственном соку. Ужас охватил Килгора. Панические мысли кружились в его голове: «Я должен отсюда выбраться. Найти какой-нибудь город. Раздобыть средство против этой проклятой краски!» Теперь ему было наплевать, как он выглядит. Теперь он уже не боялся показаться смешным.

Охваченный паникой, Килгор бросился к щиту управления. Он уже протянул руку к стартовому рычагу, но в последнее мгновение остановился.

Банка! Банка сказала: «Во мне краска». Может быть, она скажет, как этой краской пользоваться, а главное — как ее снять?

«Слепой идиот! — шепотом поздравил себя Килгор, вылезая из планетолета. — Болван! Мог бы догадаться сто лет назад».

Куб лежал в траве на прежнем месте. Килгор прикоснулся к нему и тотчас мысленно услышал: «Во мне осталось четверть объема». Значит, он выплеснул на себя три четверти. Это было существенно. Главное, не вылить остатки этого

жидкого ужаса, обтянувшего его непроницаемой сияющей пленой.

Осторожно, стараясь не приподнять банку, он схватил ее голыми руками. И почти тотчас услышал первый ответ: «Инструкция: прежде чем наносить краску, установи вокруг намеченного места контролеров. Чтобы снять краску, покрой ее затемнителем на один терард». Непонятное слово, по-видимому, означало какой-то короткий промежуток времени. «Внимание,— продолжалась беззвучная инструкция,— затемнитель всегда имеется в ближайших магазинах хозяйственных товаров».

— Замечательно! — яростно прошипел Килгор. — Сейчас сбегая и возьму пару пузырьков!

Несмотря на всю бессмысленность инструкции, он почему-то почувствовал себя спокойнее. Все-таки это были разумные, практические советы, а не вой и мяуканье десятиглавых, восьминогих чудищ, одержимых лютой ненавистью к человеку, вздумавшему исследовать их бредовую планету. Существа, пользующиеся красками, не станут его убивать просто так, ни за что. Это было очевидно. Их разум предполагал наличие какого-то рационального мировоззрения, организованного общества. Конечно, не все обитатели иных миров отнесутся к людям доброжелательно. Но ведь и люди иногда не очень-то доброжелательны к себе подобным!

Если принять банку с краской за эталон, цивилизация обитателей Венеры должна быть выше человеческой. Следовательно, венериане стоят выше мелких пакостей. Это проливало какой-то свет на фантастическую, невероятную историю, в которую он влип. Сам. По собственной глупости.

Тем временем Килгору становилось все жарче и жарче под непроницаемой пленкой. Он уже чувствовал себя почти настоящим венерианином. Подсунув пальцы под банку, он приподнял ее, и в голове у него прозвучало:

«Состав краски соответствует нормам, установленным правительством: 7% — ?!?!, 13% — ?!?!, 80% — жидкий свет».

— Жидкий... что? — спросил вслух Килгор.

«Предупреждение! — продолжалась мысль. — Краску нельзя помещать вблизи летучих соединений».

Килгор ждал разъяснения, но его не последовало. Очевидно, венериане достаточно хорошо знали свое правительство, чтобы повиноваться его инструкциям без лишних вопросов.

Но ведь он уже пытался воздействовать на краску самыми различными летучими жидкостями — скипидаром, бензином, ракетным горючим — и даже какими-то взрывчатыми веществами! И ничего не произошло. Дурацкое предупреждение! Если только оно не означает чего-то иного.

Килгор поставил банку и вернулся в планетолет. Стартовый рычаг на щите управления показался его ладони гладким, как стекло. Он отвел его вниз до щелчка и внутренне напрягся, ожидая, когда сработает автоматика и включит мощные двигатели. Двигатели молчали.

Он забеспокоился. Вернул рычаг в прежнее положение и снова отвел вниз до щелчка. И снова взрыва не было.

Мысль Килгора заработала с бешеной быстротой. Тревога стала невыносимой. Всем телом ощущал он ее гнетущую тяжесть. После тщетной попытки смыть краску ракетным горючим он слил его обратно в бак планетолета. Совсем немного! Но космонавты привыкли экономить каждую каплю. Он слил его обратно потому, что краска, по-видимому, нисколько на горючее не повлияла. А банка? Банка говорит: «Краску нельзя помещать вблизи летучих соединений!» Неужели? Неужели это инертное вещество сделало таким же инертным 18 000 галлонов горючего, все, что оставалось в планетолете?

Килгор бросился к радиоаппарату. Он посылал свои позывные, еще когда до Венеры оставалось около миллиона миль, и, не отходя от приемника, ждал и ждал ответа. Необъятная пустота безмолвствовала. И тем не менее венериане должны были иметь подобную аппаратуру. Теперь на сигнал бедствия они должны ответить!

Но они не ответили. Прошло полчаса: никто не слышал его сигналов. Приемник молчал. Даже шумов не было слышно ни на одной волне. Он был один в безумно расцветченном мире ползущей, переливающейся, растущей на глазах сумасшедшей краски.

Затемнитель... Жидкий свет... Может быть, краска сияет лишь при ярком свете, и если выключить лампы... Еще не успев снять палец с выключателя, Килгор впервые заметил, какая тьма царит снаружи. Он подошел к открытому люку планетолета и выглянул в беззвездную ночь. Темнота была непроницаемой. Вот они, вечные облака Венеры! Днем они служили своего рода броней, которая лишь немного

смягчала ослепительные лучи близкого Солнца. Но сейчас, ночью, все выглядело иначе. Облака окружали планету, как стены и потолок темной комнаты. Свет, разумеется, был: ни одна планета солнечной системы не может быть полностью лишенной света и энергии. Селенограф, наверное, показал бы сейчас не менее сотни тысячных...

Килгор опустил глаза и увидел, что все вокруг залито сиянием краски. В темноте его тело светилось как бессмысленный многоцветный светофор. Свет был настолько ярок, что пестрые блики плясали даже на траве внизу. Должно быть, труп его будет выглядеть недурно.

Килгор представил, как он лежит мертвый на полу кабины, покрытый краской с головы до ног. Когда-нибудь венериане найдут его на этом отдаленном лугу. Они будут долго гадать, кто он и откуда. Ведь сами они вряд ли знакомы с межпланетными перелетами! А может быть, знакомы?

Мысль Килгора запуталась в лихорадочных предположениях. А что, если венериане сознательно избегают общения с землянами? Но сосредоточиться на подобных пустяках Килгор уже не мог. Он побрел в кабину управления. «Что-то там осталось,— думал он.— Что-то я хотел еще сделать... Не помню... Радио?..» Он включил приемник и подпрыгнул как от укола. В ушах раздался механический голос:

— Человек Земли! Человек Земли! Ты здесь? Ты здесь?

Килгор вцепился в передатчик.

— Да! — заорал он.— Да, я здесь! И в ужасном состоянии. Вы должны мне немедленно помочь!

— Мы знаем твоё состояние,— бесстрастно отозвался голос,— но спасать тебя мы не намерены.

— Ну и ну! — пробормотал Килгор. А голос продолжал:

— Сосуд с краской был сброшен с незримого корабля у выхода из твоей машины вскоре после ее падения. Мы, кого вы называете венерианцами, в течение тысячелетий с беспокойством следили за развитием цивилизации на третьей планете этой солнечной системы. Мы не склонны к авантюрам, и за всю нашу историю у нас не было ни одной войны. Впрочем, это не означает, что борьба за существование была у нас менее ожесточенной. Просто наша приспособляемость неизмеримо меньше. Наши психологи

давно пришли к убеждению, что межпланетные перелеты не для нас. В связи с этим мы сосредоточили наши усилия на развитии чисто венерианской культуры. Поэтому, когда твой планетолет вошел в нашу атмосферу, нам пришлось решать, на каких условиях мы можем общаться с обитателями Земли. И мы сбросили сосуд с краской, чтобы ты его нашел. Если бы ты не облился краской, тебя ожидало бы другое испытание. Да, ты не ослышался. Ты проходишь испытание. И по-видимому, его не выдержишь. Весьма прискорбно, ибо это означает, что люди твоего или более низкого интеллекта будут изгоняться с Венеры. Подготовить испытание для существа, принадлежащего к другой цивилизации, очень трудно. Поэтому, если ты его не пройдешь, тебя ждет смерть, чтобы мы могли таким же или похожим способом испытать других и чтобы они не узнали об этом заранее. Последнее кажется нам особенно важным. Мы хотим найти человека, способного выдержать испытание. После этого мы его обследуем нашими приборами. Их показания будут служить эталоном для оценки будущих пришельцев на Венеру. Все те, чей разум равняется или превосходит разум первого человека, выдержавшего испытание, могут прилетать к нам спокойно. Таково наше окончательное решение. Испытуемый, кроме того, должен покинуть Венеру самостоятельно. Ты сам поймешь, для чего это нужно. А позднее мы будем помогать людям Земли в снаряжении их планетолетов. С тобой мы говорим через говорящую машину. Простейшие мысли были тщательно сконцентрированы на сосуде с краской с помощью мыслительной машины. Установить контакт с разумом невенерианина очень, очень трудно. А теперь прощай. И, хотя это звучит странно, желаем тебе удачи!

Последовал щелчок. Килгор долго еще крутил ручки настройки, но больше не услышал ни звука. Он сидел, не включая света, в темноте и ждал смерти. Но в нем не было ни покорности, ни смирения. Все его существо трепетало от желания жить. Затемнитель! Боги праведные, каменные и деревянные, что же это за штука, черт побери!

Вопрос был не нов. Килгор битый час раздумывал над ним в темной кабине, освещенной лишь призрачными отсветами его тела. Он сидел с блокнотом в руках и торопливо записывал все, что с ним произошло.

Совершенная краска, состоящая... на 80% из жидкого света. Свет есть свет. Жидкий свет должен подчиняться тем же законам, что и обычный. Но должен ли? И что из этого следует? Килгор чувствовал, что уже не способен заниматься качествами совершенной краски. Ему было плохо физически. Жарко, как в лихорадке. Временами он с трудом подавлял тошноту. Ноги Килгор сунул в таз с холодной водой: ему казалось, что его кровь закипит, если сам он не будет охлаждаться.

Впрочем, скоро он понял, что выше этой почти невыносимой точки температура тела вряд ли поднимется. И вообще, температуру живого тела можно регулировать. Питайся одними витаминами — уже от этого она должна снизиться. Сейчас было бы глупо вводить в организм дополнительные калории — новое горючее, вырабатывающее тепло. Но самая страшная опасность даже и не в этом. Краска постепенно закупорит все поры, и тело перестанет дышать. Смерть неизбежна, но когда она наступит?

Такого рода неведение отнюдь не способствовало спокойствию его души. Странно только, что теперь, когда он отрешенно ждал гибели, смерть почему-то медлила. Эта мысль вывела Килгора из апатии. Медлила... Он вскочил на ноги. Смерть действительно медлила! Он бросился в ванную и впился в свое отражение! Краска по-прежнему покрывала лишь половину его тела. За последний час окрашенная поверхность не увеличилась. За последний час, который он провел в темноте.

Присмотревшись, Килгор увидел, что меньше краски тоже не стало. Так оно и должно было быть. Краска должна была светить во мраке венерианских ночей. Но что, если он заберется в еще более полную темноту, хотя бы в непроницаемый для всех излучений пустой бак из-под горючего?

Килгор просидел в баке полчаса без всякого толку. Он вылез оттуда обессиленный, но все еще полный решимости. Полная темнота — в этом была разгадка. Но чего-то он недодумал. Чего-то важного. Если одной темноты достаточно, горючее в баках уже освободилось от действия краски.

Килгор включил стартовый рычаг. Ничего не произошло. Значит, тут было что-то еще.

«Надо как-то избавиться от восьмидесяти процентов жидкого света,— думал Килгор.— Либо через полную темноту, либо иным способом. Но что может быть темнее темноты в баке из-под горячего? Он отражает все излучения. В чем же ошибка? Отражает... Вот в чем! Свет краски отражается стенками бака и снова поглощается краской. Свету некуда уйти. Вывод: надо убрать отражение. Нет, не то...»

Возбуждение Килгора росло. Если убрать отражение, свет будет уходить, это несомненно. Но в то же время лучистая энергия снаружи будет восполнять утечку. Впрочем, лучше всего попробовать.

Он попробовал. Так и есть. Краски на нем осталось ровно столько же. Он был уже на грани отчаяния, когда ответ сверкнул перед ним подобно внезапной вспышке.

Месяц спустя, на обратном пути к Земле, Килгор связался по радио со встречным планетолетом, который шел на Венеру. Заканчивая рассказ о своем приключении, он передал в эфир:

— Так что затруднений при посадке не будет. Венериане сами поднесут вам ключи от своих радужных городов.

— Погодите! — донесся до него недоумевающий голос.— Вы сказали, что они допускают на Венеру только тех, кто стоит по развитию не ниже человека, выдержавшего испытания. Должно быть, вы башковитый парень, если вам это удалось. А мы обыкновенные грешные космонавты. Что же нас ждет?

— Вы парите над новым миром,— нежно промурлыкал Килгор.— Под вами Венера. Подобно большинству космонавтов, я не блистал интеллектом. Моими союзниками были страсть к неизведанному, энергия и сила. Так что,— скромно сказал он в заключение,— если они допустили на Венеру меня, туда могут спокойно лететь девяносто девять процентов землян.

— Но послушайте...

Килгор не дал собеседнику договорить:

— Не спрашивайте, почему их испытания так просты. Поймете сами, когда с ними встретитесь. Вряд ли они вам понравятся, но когда вы их увидите, вам станет ясно, почему обитателям Венеры было так трудно придумать

испытание для человека Земли. Есть еще вопросы?

— Есть. Как же вы избавились от краски?

Килгор усмехнулся.

— При помощи фотопроявителя и солей бария,— объяснил он.— Я взял с собой в бак из-под горючего фотопроявитель в изрядном количестве и бариевую батарею. Это поглотило жидкий свет краски. Остаток, тонкая коричневая пыль, осыпался сам, и я был свободен! Точно так же я восстановил активность своего ракетного топлива.— И Килгор весело расхохотался.— До скорого, друзья! И поторапливайтесь — у меня на борту редкостный груз.

— Груз? Какой?

— Краска! Тысячи банок великолепнейшей краски. Отныне Земля воссияет и расцветет как никогда. У меня на этот товар монопольное право!

И два корабля разминулись во мраке космоса, следуя каждый своим курсом.

Гордон Р. Диксон

Повелитель

Он командиром был моим,
И я его любил.
Но позже предал он меня,
И я его убил.

Из «Песен щитоносца»

Солнце не могло не подняться над холмами Кентукки, и точно так же не мог не проснуться вовремя Кайл Арнам. День будет продолжаться одиннадцать часов сорок минут. Кайл встал, оделся и вышел седлать серого мерина и белого жеребца. Он объезжал жеребца до тех пор, пока первая ярость не вышла из гордой белой шеи, затем привязал обеих лошадей неподалеку от кухонной двери. Только после этого он отправился завтракать.

Письмо, пришедшее неделю назад, лежало перед тарелкой с беконом и яйцами. Тина, его жена, повернувшись к нему спиной, нарезала хлеб. Он уселся за стол и начал есть, в который раз перечитывая письмо.

«...принц будет путешествовать инкогнито, под одним из своих фамильных титулов — граф Северного Сириуса, и вам не следует, разговаривая с ним, пользоваться обращением «ваше высочество». *Пользуйтесь обращением «повелитель».*

— Почему именно ты? — спросила Тина.

Он поднял голову и увидел, что она все так же стоит к нему спиной.

— Тина... — со вздохом отозвался он.

— Нет, ты мне скажи почему?

— Мои предки были телохранителями его предков еще со времен войн с негуманоидами. Ты ведь знаешь. Мои деды и прадеды много раз спасали жизнь его дедам и прадедам, часто в случаях внезапного нападения: вдруг из ниоткуда рядом с нашим кораблем появляется корабль раков и пытается взять его на бордаж — бывало даже, что и наш флагман. Однажды императору самому пришлось защищаться в рукопашной схватке.

— Все твои ракки давно мертвы, а у императора есть сотня других планет! Почему его сын не может отправиться в свое Путешествие на какую-нибудь из них? Зачем ему Земля и... ты?

— Земля одна.

— Но ведь ты тоже один, разве не так?

Он вздохнул и перестал спорить. После смерти матери его воспитывали отец и дядя, и в спорах с Тиной он всегда чувствовал себя беспомощным. Встав из-за стола, он подошел к ней и, обняв, попробовал повернуть к себе лицом. Она не повернулась.

Кайл вздохнул снова и направился к шкафу, где хранилось оружие. Вынул крупнокалиберный пистолет, сунул его в короткую кобуру и пристегнул слева к поясу, где заполой кожаной куртки кобура не будет видно. Тщательно выбрал кинжал, с темной рукояткой и лезвием длиной в шесть дюймов, легко скользнувший в кожаные ножны, вделанные прямо в сапог. Опустив штанину, Кайл выпрямился.

— У него нет права здесь находиться,— разгневанно сказала Тина, обращаясь к хлеборезке.— По закону туристы должны жить в специально отведенных местах и осматривать только заповедники и музеи.

— Принц не турист,— терпеливо ответил Кайл.— Ты ведь знаешь, что он старший сын императора и его прабабушка родилась на Земле. Кроме того, он обязан здесь жениться. Каждое четвертое поколение наследник берет себе в жены девушку с Земли. Это все еще закон.

Он надел кожаную куртку, застегнул ее внизу, чтобы скрыть кобуру с тяжелым пистолетом, повернулся к двери, потом в нерешительности остановился.

— Тина! — Она не ответила.— Тина!

Он подошел к ней, положил руки ей на плечи и попытался опять повернуть к себе лицом. Она и теперь не хотела поворачиваться, но на этот раз Кайл действовал решительно. Его нельзя было назвать крупным — среднего роста, лицо круглое, плечи широкие и покатые. Но при этом он был необычайно силен. Он мог заставить опуститься на колени белого жеребца, просто взявшись крепко за его гриву, а такого не удавалось никому другому. Он легко повернул Тину к себе лицом.

— Послушай,— начал было он.

Но больше ничего не успел сказать, потому что тело ее внезапно обмякло и она прильнула к нему, вся дрожа.

— Ты попадешь из-за него в беду, он принесет тебе несчастье, я знаю,— сдавленным от слез голосом проговорила она, уткнувшись в его куртку.— Кайл, останься! Нет такого закона, чтобы тебя могли заставить!

Он ласково гладил ее по мягким волосам; в горле у него стоял ком. Он ничего не мог ей ответить: ведь она просила о невозможном. Наверное, с древних времен, когда молодое солнце озаряло восходом первых мужчин и женщин на Земле, жены вот так же льнули к своим мужьям, умоляя их поступить так, как те не имели возможности. И, наверное, мужья так же, как Кайл, прижимали их к себе, пытаясь хотя бы близостью своей объяснить неизбежность происходящего, ничего не говоря, потому что слова были не нужны.

Он стоял, не двигаясь, еще несколько мгновений, потом осторожно разомкнул руки, крепко обнимавшие его, повернулся и вышел. Отъезжая на белом жеребце, ведя серого мерина в поводу, он бросил взгляд в кухонное окно и увидел, что Тина стоит на месте. Она даже не плакала: просто стояла опустив руки, склонив голову, не шевелясь.

Он скакал по склону покрытого лесом кентуккийского холма. Более двух часов потребовалось ему, чтобы добраться до охотничьего домика. Еще издали увидел он высокого бородатого человека, стоявшего у ворот, одетого в длинный плащ, какие сейчас носили на Новых Планетах.

При ближайшем рассмотрении борода человека оказалась седой, а сам он, явно нервничая, нетерпеливо кусывал губы. У него был прямой тонкий нос, а под воспаленными глазами набрякли темные мешки, как от недосыпания.

— Принц во дворе,— сказал седобородый подъехавшему Кайлу.— Я Монтлавен, его наставник. Он готов ехать.

— Держитесь подальше от моего жеребца,— сказал Кайл.— И проводите меня внутрь.

— Только не сажайте его на серого мерина,— произнес Монтлавен пятясь, недоверчиво глядя на белого жеребца.

— Посажу,— ответил Кайл.— Он поедет на мерине.

— Но он захочет вашу, белую.

— Ехать на белой он не сможет,— ответил Кайл.— Даже если я разрешу, ему с жеребцом не справиться. В этом седле, кроме меня, не усидеть никому. А теперь пойдёмте.

Наставник повернулся и прошёл в заросший травой внутренний дворик с плавательным бассейном посередине, у которого в качалке сидел высокий молодой человек лет двадцати, с копной золотистых волос. Рядом на траве лежали две седельные сумки. Увидев Кайла и наставника, он поднялся.

— Ваше высочество,— сказал Монтлавен,— разрешите представить вам Кайла Арнама, вашего Телохранителя на те три дня, что вы проведёте здесь.

— Доброе утро, Телохранитель... то есть Кайл.— Принц улыбнулся озорной улыбкой.— Ну что ж, слезайте. А я на него сяду.

— Вы поедете на сером, повелитель,— ответил Кайл.

Принц посмотрел на него тяжёлым взглядом, потом откинул назад свою красивую голову и рассмеялся.

— Я хороший наездник, дружище,— сказал он.— И не упаду!

— Нет, повелитель,— бесстрастно ответил Кайл.— На этой лошади езжу только я.

Глаза принца широко открылись, в них что-то блеснуло, смех на секунду затих, затем возобновился с прежней силой.

— Что тут поделаешь? — Широкие плечи поднялись, потом опустились.— Я уступаю, я всегда уступаю. Почти всегда.— Молодой человек улыбнулся Кайлу, и, хотя губы его были сжаты в тонкую линию, улыбался он не фальшиво.— Ну, хорошо.

Он подошёл к серому мерину и одним неумовимым движением очутился в седле. Конь захрапел и взвился на дыбы от неожиданности, но быстро успокоился, почувствовав, как длинные пальцы искусно натягивают поводья, а рука ласково треплет серую шею. Принц посмотрел на Кайла и поднял брови, но тот все так же бесстрастно продолжал сидеть в седле.

— Я надеюсь, ты вооружен, мой добрый Кайл? — спросил принц.— Ты сумеешь защитить меня от туземцев, если они взбунтуются?

— За вашу жизнь отвечаю я, повелитель,— ответил Кайл.

Он расстегнул кожаную куртку и отвел полу в сторону, так что стал виден тяжелый пистолет, висевший в кобуре на поясе. Потом вновь застегнулся.

Наставник робко положил на колено молодого человека руку.

— Будь осторожен, мой мальчик. Это Земля, и люди здесь относятся к титулам и рангам совсем не так, как мы. Думай, прежде чем...

— Ах, прекрати, Монтлавен! — оборвал его принц. — Я буду самым обычным инкогнито, таким же скромным, старомодным и независимым, как и эти земляне. Ты думаешь, я все забыл? К тому же потерпеть придется только три дня, пока ко мне не присоединится мой высокородный папаша. А теперь проваливай!

И, скинув руку наставника, он чуть пригнулся и пустил коня вскачь. Несколько мгновений — и он уже исчез из виду; Кайл натянул поводья своего жеребца, и тот заплясал: ему не терпелось последовать за товарищем по конюшне.

— Дайте мне его вещи,— сказал Кайл.

Наставник поднял сумки с земли. Кайл закрепил их поверх своих, по обе стороны луки седла. Глянув вниз, он увидел в глазах седобородого наставника слезы.

— Он хороший мальчик! Вот увидите! Вы наверняка поймете, что он хороший!

Поднятое вверх лицо Монтлавена выражало мольбу.

— Я знаю, что он из хорошей семьи,— медленно ответил Кайл.— Я сделаю для него все, что в моих силах.

И с этими словами он выехал из ворот усадьбы.

Принца нигде не было видно. Но Кайл легко шел по следу: комья коричневой земли и примятая трава указывали ему путь. Сквозь редкий сосновый лес он доехал до травянистого открытого склона холма и увидел, где принц, а тот, сидя в седле, глядел вверх сквозь небольшую коробку с линзой.

Когда Кайл подъехал, принц опустил прибор и, не говоря ни слова, протянул его Кайлу. Тот, также молча, поднес коробку к глазам и посмотрел на небо. Завертелся автоматический видоискатель, и в поле зрения Кайла всплыла одна из трех орбитальных энергостанций Земли.

— Теперь отдай,— сказал принц.— Мне давно хотелось посмотреть на эти станции,— продолжал молодой человек, когда Кайл протянул ему прибор,— и теперь такая возможность появилась. Довольно-таки дорогой подарок, к твоему сведению, эта станция и две другие такие же; и все три оплачены из имперской казны. Только ради того, чтобы на планете вашей не наступил новый ледниковый период. И что мы, интересно, имеем взамен?

— Землю, повелитель,— ответил Кайл.— Какой она была до того, как человек отправился к звездам.

— Чтобы поддерживать в нормальном состоянии заповедники и музеи, достаточно было бы одной станции и полумиллиона обслуживающего персонала,— сказал принц.— А я говорю о двух других станциях и примерно миллиарде бездельников, занятых собой и своими делами. Придется разобратсья в этом, когда я стану императором. Едем дальше?

— Как вам угодно, повелитель.

Кайл подобрал поводыря, и лошади помчались вдоль склона холма.

— И вот еще что,— сказал принц несколько минут спустя, когда они въехали в сосновый бор.— Ты мог неправильно меня понять, но я, хоть и нагрубил старине Монтлаvenu, на самом деле очень его люблю. Просто мне с самого начала не хотелось лететь сюда... *Смотри на меня, Телохранитель!*

Кайл повернулся и увидел, как молния сверкнула в голубых глазах, отличавших всех представителей императорской династии. Затем неожиданно их взгляд смягчился. Принц засмеялся.

— А тебя нелегко напугать, Телохранитель... то есть Кайл. Думаю, ты мне все-таки нравишься. Но когда я с тобой разговариваю, смотри мне в лицо.

— Да, повелитель.

— Вот и прекрасно, мой добрый Кайл. Я объяснял тебе, что вовсе не собирался лететь на вашу планету ради так называемого Путешествия. Не вижу никакого смысла в этом пыльном, старом мире-музее, где люди все еще пытаются жить как в Темные Века. Но... мой отец, Император, уговорил меня.

— Ваш отец, повелитель?

— Да; он, можно сказать, подкупил меня,— задумчиво

ответил принц.— Сначала мы хотели провести эти три дня на Земле вместе. Теперь же он послал сказать, что немного задерживается... но все это не имеет значения. Дело в том, что отец мой из тех стариков, которые почему-то считают вашу планету драгоценной и необходимой. Вообще-то я очень люблю отца и восхищаюсь им. Ты того же о нем мнения, Кайл?

— Да, повелитель.

— Так я и думал. Да, он единственный человек, кого я люблю. И, чтобы доставить ему удовольствие, я путешествую по Земле и буду послушно осматривать те чудеса и достопримечательности, которые ты мне покажешь. Надеюсь, ты понял меня? Мне не придется повторять, каким должно быть наше Путешествие?

Он смотрел на Кайла пристальным взглядом.

— Да, повелитель.

— Вот и прекрасно,— сказал принц, снова улыбаясь.— Тогда начнем с того, что ты расскажешь мне обо всех этих деревьях, птицах и животных, чтобы я смог запомнить их названия и доставить удовольствие отцу, когда он прилетит. Что это за птички, которых я видел под деревьями, коричневые сверху и с белым брюшком? Вот как эта — смотри!

— Это певчая птица, которую мы называем дрозд, повелитель,— ответил Кайл.— Она живет в чаще, в тишине лесов. Послушайте...

Он взял серого мерина за уздечку и остановил обеих лошадей. Во внезапно наступившей тишине справа от них раздался звонкий серебристый птичий голос, переливающийся, поднимающийся ввысь и затухающий. Мгновение принц сидел не шевелясь, уставившись на Кайла; потом стряхнул с себя оцепенение и резко выпрямился.

— Очень интересно,— сказал он и взял в руки поводья. Они продолжали свой путь.— Рассказывай дальше.

Больше трех часов ехали они по лесистым холмам, и Кайл называл каждую птицу и животное, каждое насекомое, дерево и камень, встречавшиеся по пути. И все это время принц слушал, чуть отвлекаясь, иногда перебивая, но внимательно. Лишь когда было далеко за полдень, он прервал разговор.

— Достаточно,— сказал он.— Может, поедим где-нибудь? Неужели поблизости нет селений?

— Мы проехали несколько, повелитель.

— Вот как? Почему же не заехали хоть в одно? Куда ты меня ведешь?

— Никуда, повелитель,— ответил Кайл.— Вы выбираете путь, я только следую за вами.

— Я? — Впервые, похоже, принц осознал, что серый мерин все время на голову впереди жеребца.— Ну, конечно. Но сейчас уже пора позавтракать.

— Да, повелитель,— сказал Кайл.

Он поскакал вниз по склону холма. Принц быстро догнал его.

— А теперь слушай. И скажи, все ли я запомнил правильно.

И, к удивлению Кайла, он повторил почти слово в слово все, что услышал.

— Я все запомнил? Все, что ты говорил?

— В точности, повелитель,— ответил Кайл.

Принц высокомерно посмотрел на него.

— А ты так можешь?

— Да,— сказал Кайл.— Но ведь я знаю это всю жизнь.

— Вот видишь? — Принц улыбнулся.— В этом и заключается разница между нами, мой добрый Кайл. Тебе, чтобы что-то усвоить, нужна целая жизнь, а мне достаточно нескольких часов, чтобы узнать столько же.

— Не столько же, меньше, повелитель,— медленно сказал Кайл.

Принц моргнул, затем сделал резкое движение рукой, как бы отмахиваясь от чего-то несущественного.

— Ну, может, остались какие-нибудь пустяки, но это не в счет,— отозвался он.

Склон холма кончился, и извилистая долина привела их к небольшой деревушке. Из-за деревьев доносились звуки музыки.

— Что это? — Принц привстал в стременах.— Смотри-ка, они танцуют!

— Пивная на открытом воздухе, повелитель. И сегодня суббота, нерабочий день.

— Прекрасно. Там и поедим.

Они спешили и нашли свободный столик, довольно

далеко от танцевальной площадки. Хорошенькая молодая официантка быстро приняла у них заказ, и принц не переставал лучезарно улыбаться, пока не добился ответной улыбки, после чего девушка в легкой растерянности поспешила прочь. Когда стол был накрыт, принц с жадностью набросился на еду и выпил полторы кружки темного пива, в то время как Кайл ел более умеренно и ограничился черным кофе.

— Так-то лучше,— сказал принц, насытись и откидывайся на спинку стула.— Ну и аппетит же я нагулял!.. Смотри-ка, Кайл! Смотри, смотри, вон там: пять, шесть... семь гравиплатформ! Значит, вы ездите не только на лошадях?

— Нет,— ответил Кайл,— каждый поступает как хочет.

— Но если вы пользуетесь гравиплатформами, почему не ввели других новшеств?

— Кое-что у нас приживается, кое-что — нет.

Принц рассмеялся.

— Ты хочешь сказать, что вы даже цивилизацию заставляете служить той старомодной жизни, которую ведете? А тебе не кажется, что должно быть наоборот?..— Он помолчал.— Что это за музыка? Мне нравится. Могу поспорить, что сумею станцевать под нее.— Он встал.— Да, так и сделаю.— На мгновение принц остановился и посмотрел на Кайла сверху вниз.— Разве ты не хочешь сказать, что мне не стоит туда идти? — спросил он.

— Нет, повелитель,— ответил Кайл.— Что вы делаете, ваше личное дело.

Молодой принц резко отвернулся, потом увидел молоденькую официантку, которая шла по проходу между столиками, и кинулся за ней. Он догнал ее возле площадки для танцев, и Кайл увидел, как девушка возражает, а принц не отпускает ее и в чем-то убеждает, глядя с высоты своего роста и улыбаясь. Она довольно быстро уступила, сняла передник и стала показывать па танца. Звучала полька.

Принц учился с фантастической быстротой. Вскоре он уже отплясывал с официанткой впереди остальных танцоров, притопывая ногами, обнажая белоснежные зубы в улыбке. Вскоре танец кончился, и оркестранты стали складывать инструменты и один за другим уходить с помоста.

Принц тут же подошел к дирижеру, несмотря на то что девушка пыталась удержать его. Кайл быстро поднялся с места и направился к площадке.

Дирижер несколько раз покачал головой. Потом он резко повернулся и пошел следом за оркестрантами. Принц рванулся вперед, но девушка взяла его за руку, что-то встревоженно пытаясь объяснить. Он оттолкнул ее. Один из официантов, немного старше принца и почти такого же роста, поставил на столик поднос и, подойдя к нему сзади, взял за руку и повернул к себе лицом.

— ...здесь не полагается,— услышал Кайл, подходя ближе.

Принц ударил молниеносно, как профессиональный боксер — три коротких прямых левых, один за другим, прямо в лицо. Плечо его ходило: в каждый удар он вкладывал вес всего тела. Посмотрев на упавшего без сознания официанта, Кайл повел принца к выходу. Лицо молодого человека побелело от бешенства и ненависти. На площадке собиралась толпа.

— Кто это был? Его имя? — проговорил принц сквозь стиснутые зубы.— Он посмел ко мне прикоснуться! Ты видел? *Он посмел ко мне прикоснуться!*

— Вы избили его до потери сознания,— сказал Кайл.— Что еще вам нужно?

— Он схватил меня за руку... посмел ко мне прикоснуться! — выкрикнул принц.— Скажите его имя! Он у меня узнает, как касаться будущего императора своими грязными лапами!

— Никто вам не скажет его имени,— произнес Кайл, и его холодный, бесстрастный голос, казалось, отрезвил принца.

— И ты тоже? — спросил он наконец.

— И я тоже, повелитель,— сказал Кайл.

Принц продолжал смотреть на него не отрываясь, потом отвернулся. Он сдернул с перил, к которым были привязаны лошади, поводья серого мерина, вскочил в седло и поскакал вперед. Кайл быстро догнал его.

По-прежнему не разговаривая, они въехали в лес. Через некоторое время принц заговорил, не поворачивая головы:

— И ты еще называешь себя моим Телохранителем.

— Я отвечаю за вашу жизнь, повелитель,— сказал Кайл.

Нахмурившись, принц повернулся и посмотрел на него.
— Только жизнь? Значит, они могут делать что захотят, лишь бы меня не убили? Ты это имеешь в виду?

Кайл не отвел взгляда.

— В общем, да, повелитель,— ответил он.

Принц заговорил, и сейчас в голосе его звучала холодная злоба.

— Пожалуй, ты мне все-таки не нравишься, Кайл,— сказал он.— Совсем не нравишься.

— Я здесь не для того, чтобы нравиться, повелитель,— ответил Кайл.

— Может быть. Но *твое* имя я знаю!

Примерно в течение получаса они ехали в полном молчании. Постепенно плечи молодого человека распрямились, а выражение лица смягчилось. Вскоре он принялся напевать песню на языке, которого Кайл не знал, и вместе с пением к нему, казалось, вернулась былая веселость. И разговаривать он начал как ни в чем не бывало.

Пещера Мамонтов находилась неподалеку, и принц заинтересовался, нельзя ли осмотреть ее. Некоторое время они провели внутри, потом долго ехали по левому берегу Зеленой реки. Принц, казалось, совсем забыл об инциденте в пивной и был сама любезность со всеми, кто встречался им на пути. Когда солнце стало клониться к западу, они очутились у какой-то деревушки. Придорожная гостиница с огромным дубом у входа и соснами позади красиво отражалась в искусственном озере.

— Мне здесь нравится,— заметил принц.— Здесь и переночуем.

— Как вам угодно, повелитель.

Они спешили, и Кайл отвел лошадей на конюшню, затем прошел в гостиницу и увидел, что принц устроился в небольшом баре рядом с рестораном, пьет пиво и очаровывает официантку. Она была моложе той, с которой он танцевал, совсем еще ребенок, с мягкими, свободно падающими волосами и круглыми карими глазами, в которых сквозило восхищение тем, что на нее обратил внимание высокий и красивый молодой человек.

— Да,— сказал принц, искоса поглядев на Кайла, как только официантка ушла принести заказанный им кофе,— в такое место я и стремился.

— В такое, повелитель?

— Надо же мне лучше узнать землян — что ты об этом думаешь, мой добрый Кайл? — Принц засмеялся. — Я буду наблюдать их, а ты мне все про всех объяснять — правда, замечательно будет?

Кайл задумчиво посмотрел на него.

— Я скажу все что смогу, — ответил он.

Они выпили, принц — пиво, Кайл — черный кофе, и направились в ресторан пообедать. Принц, не умолкая, сыпал вопросами.

— ...Но почему все вы живете в прошлом? — сказал он. — Я понимаю, планета-музей. Но чтобы музейными экспонатами были люди...

Он оборвал фразу и, улыбнувшись, заговорил с девушкой из бара, которая, освобожденная теперь почему-то от обязанности обслуживать бар, обслуживала их столик.

— Мы не экспонаты, повелитель, — сказал Кайл. — Мы живем. Сохранить народ и его культуру можно, только дав людям возможность быть свободными. Вот мы и живем здесь, на Земле, по-своему и служим примером Молодым Мирам, чтобы те, сравнивая себя с Землей, могли проверять правильность избранного ими пути.

— Изумительно, — пробормотал принц.

Но глаза его ни на секунду не отрывались от официантки, которая все время оглядывалась на него и каждый раз краснела. Ресторан постепенно заполнялся.

— Не изумительно, повелитель. Необходимо, — ответил Кайл. Но он сомневался, что молодой человек его слышит.

После обеда они снова перебрались в бар. Принц задал Кайлу еще несколько вопросов, потом пошел не спеша вдоль стойки, заговаривая с людьми. Некоторое время Кайл наблюдал за ним, затем, решив, что сейчас опасаться нечего, вышел из гостиницы еще раз посмотреть лошадей и договориться с хозяином о завтраке, который нужно будет завернуть и уложить в седельные сумки.

Когда он вернулся, принца нигде не было видно.

Кайл уселся за столик и стал ждать, но принц не возвращался. Холодным тугим узлом беспокойство сжало горло Кайла. Вздрыгнув от неожиданно пришедшей в голову мысли, он вышел еще раз взглянуть на лошадей, но те мирно стояли в стойлах и жевали овес. Жеребец тихонько

заржал, услышав знакомые шаги, и повернул большую белую голову.

— Спокойно, малыш, спокойно,— сказал Кайл и пошел в гостиницу спросить о своем спутнике у хозяина.

Но тот понятия не имел, куда мог подеваться принц.

— Если лошади на месте, он не мог уйти далеко. Может, пошел прогуляться в лес. Я скажу ночной смене, чтобы присмотрели за ним, так что не беспокойтесь. Где вас можно будет найти?

— В баре, пока не закроется,— ответил Кайл.— Потом — в моем номере.

Он вернулся в бар, сел за столик у открытого окна и принялся ждать. Время текло быстро, и люди постепенно начали расходиться. Под звон бутылок часы пробили полночь.

Внезапно со стороны конюшен послышалось громкое ржание разъяренной лошади.

Кайл вскочил и выбежал из гостиницы. В полной темноте ворвался в конюшню. При слабом свете лампочки, освещавшей конюшню по ночам, увидел, как принц, с белым как мел лицом, неуклюже седлает серого мерина. Дверь в стойло жеребца была распахнута настежь. Когда Кайл вошел, принц отвернулся.

Тремя быстрыми шагами Кайл подошел к открытой двери и заглянул внутрь. Жеребец все еще был на привязи, но уши его были прижаты, глаза вращались, а скинутое седло лежало на полу.

— Седлай,— донесся из прохода между стойлами хриплый голос принца.— Мы едем.

Кайл повернулся и посмотрел на него.

— Мы ведь заказали номера в этой гостинице,— сказал он.

— Неважно. Едем. Я должен проветриться.

Молодой человек туго затянул подпругу, опустил стремена и тяжело поднялся в седло. Не дожидаясь Кайла, выехал из конюшни в ночь.

— Тихо, малыш, тихо,— сказал Кайл жеребцу, успокаивая его и одновременно отвязывая и седлая.

Он выехал вслед за принцем, а так как в темноте следов не было видно, Кайл наклонился и слегка дунул жеребцу в ухо. Удивленная лошадь протестующе заржала, и с вершины холма раздалось ответное ржание мерина.

Он поравнялся с принцем на вершине холма. Молодой человек бросил поводья, пустив коня шагом и что-то напевая себе под нос на том же незнакомом языке, что и раньше. Завидев Кайла, он развязно усмехнулся и запел громче и с выражением; и Кайл уловил что-то насмешливое и не совсем приличное в интонациях его голоса. Внезапно он понял.

— Девушка! Молоденькая официантка,— сказал он.— Где она?

Ухмылка исчезла с лица принца, затем его губы вновь медленно растянулись в улыбке. Он смеялся над Кайлом.

— Где? Где? А как ты сам думаешь? — ответил принц чуть заплетающимся языком, и Кайл, подъехав ближе, уловил тяжелый запах пива.— Спит себе спокойно и счастливо в своей комнате. Удостоенная... хоть того не ведаешь... внимания сына императора. И думает, что найдет меня утром в своей постели. Но ведь этого не будет. Правда, мой добрый Кайл?

— Зачем вы это сделали, повелитель? — спросил тихо Кайл.

— Зачем? — В лунном свете принц смотрел на него взглядом слегка подвыпившего человека.— Кайл, у моего отца четыре сына. У меня есть еще три младших брата. Но императором стану я, а императоры не отвечают на вопросы.

Кайл не сказал ни слова. Принц продолжал смотреть на него. Несколько минут они ехали молча.

— Ну что ж, я скажу тебе зачем,— неожиданно громко произнес принц, как будто разговор между ними не прекращался ни на секунду.— Затем, что ты не *мой* телохранитель, Кайл. Я, чтобы ты знал, вижу тебя насквозь. Я понял, чей ты телохранитель. *Их!*

Зубы Кайла сжались. Но в темноте этого видно не было.

— Ну да ладно.— Размахивая руками, принц чуть было не потерял в седле равновесие.— Ладно. Пусть будет по твоему. Я не возражаю. А теперь мы начнем играть, набирать очки. Этот мужлан посмел дотронуться до меня, и ты сказал, что никто не назовет мне его имени. Значит, ты, как его телохранитель, преуспел. Одно очко в твою пользу. Но для девушки ты оказался телохранителем неудачным. Одно очко в мою пользу. Интересно, кто из нас выиграет, мой добрый Кайл?

Кайл сделал глубокий вдох.

— Повелитель,— сказал он,— когда-нибудь вам придется, исполняя свой долг, жениться на женщине с Земли...

Принц, не давая ему договорить, рассмеялся, и в смехе этом звучала холодная издевка.

— Не обольщайся,— ответил он хриплым голосом.— Вы, земляне, слишком высокого о себе мнения, в этом главная ваша беда.

Наступило молчание. Кайл ехал чуть позади, внимательно наблюдая за принцем. Тот, похоже, задремал. Голова его опустилась на грудь, и мерин почувствовал, что им никто не управляет. Но тут же голова принца снова поднялась, он натянул поводья опытной рукой и принялся оглядывать окрестности, залитые лунным светом.

— Я хочу выпить,— сказал он. Голос его, уже не хриплый, а надтреснутый, звучал подавленно.— Отведи меня туда, где можно выпить пива, Кайл.

Кайл сделал глубокий вдох.

— Да, повелитель.

Кайл повернул направо, и мерин последовал за жеребцом. Они поднялись на холм и с него спустились к озеру. Темная вода блеснула от лунных бликов, и дальний берег терялся в ночной тьме. За деревьями, у небольшой бухточки, сияли огни.

— Вон туда, повелитель,— сказал Кайл.— Сюда приезжают ловить рыбу, и там есть бар.

Они проехали по берегу и очутились перед небольшим одноэтажным домом с окнами на озеро. Прямо от крыльца начинался деревянный причал, к нему были привязаны лодки, мирно покачивавшиеся на темной воде. Из окон лился свет, позволивший без труда найти место, где можно было привязать лошадей.

Бар, в который они вошли, занимал просторную комнату. Позади длинной стойки на стене висело несколько чучел рыб, а под ними стояли три бармена; один из них, в центре, средних лет, явно был здесь старшим. Двое других были молодые и мускулистые. Посетители, в основном мужчины, сидевшие за квадратными столиками или у стойки, были одеты кто в рабочую одежду, кто в спортивные костюмы и производили впечатление людей отдыхающих и приятно проводящих свободное время.

Принц выбрал столик неподалеку от стойки, и Кайл сел рядом. Они заказали пиво и кофе, и принц залпом опорожнил свою кружку.

— Еще,— сказал он и улыбнулся официантке, подающей на стол.

Но это была женщина лет тридцати, довольная улыбкой, но отнюдь не польщенная его вниманием. Она легко улыбнулась принцу в ответ и вновь подошла к стойке, чтобы продолжить начатый раньше разговор с двумя мужчинами примерно ее возраста, одним высоким и другим пониже, с круглой головой и плотной фигурой.

Принц выпил. Поставив кружку, он будто вспомнил вдруг про Кайла, повернулся и посмотрел на него.

— Ты, наверное, думаешь, что я пьян? — сказал он.

— Еще нет,— ответил Кайл.

— Да,— сказал принц.— Ты прав. Я еще не пьян. Но, возможно, я сегодня напьюсь. И если я решу напиться, интересно, кто меня остановит?

— Никто, повелитель.

— Вот это верно,— ответил молодой человек. Он нарочито медленно поднял кружку к губам, выпил и поманил рукой официантку. На его высоких скулах появилось по красному пятну.— Когда попадаешь на жалкую маленькую планетку с ее маленькими жалкими людишками... привет, ясноглазая! — прервал он себя, принимая от официантки очередную кружку пива. Она засмеялась и вновь отошла к своим друзьям.—...то поневоле приходится искать развлечений,— договорил принц и негромко рассмеялся.— Когда вспоминаю, как отец, Монтлавен да и все остальные отзывались об этой планете...— Он искоса поглядел на Кайла.— Знаешь, одно время я даже боялся... нет, не то чтобы боялся, я ничего не боюсь... скажем лучше — меня *беспокоила* мысль, что мне, может быть, придется когда-нибудь сюда прилететь! — Он засмеялся снова.— *Беспокоила* мысль, что до вашего уровня мне далеко! Ты побывал хотя бы на одном из Молодых Миров, Кайл?

— Нет, повелитель.

— Так я и думал. Знай же, мой добрый Кайл: самый жалкий из людей, которые там живут, сильнее, красивее и умнее любого из тех, кого я здесь видел. А со мной, Кайл, со мной — будущим императором — не сравнится здесь

никому вообще. И теперь попробуй представить себе, какими я вас, землян, всех вижу.— Он пристально смотрел на Кайла, ожидая ответа.— Ну, отвечай же, мой добрый Кайл. Скажи мне правду. Это приказ.

— Не вам об этом судить, повелитель,— ответил Кайл.

— Не... мне? — Голубые глаза сверкнули.— Я будущий император!

— Никому не судить об этом, повелитель,— сказал Кайл.— Даже императору. Император нужен только как символ, объединяющий сотню разных миров. Но по-настоящему любой вид разумной жизни нуждается в одном: выживании. Почти миллион лет потребовался для того, чтобы такой вид разумной жизни развился на Земле. А на новых мирах люди неизбежно будут меняться. И на случай, если вид что-то утратит там, что-то жизненно для него важное, нужно, чтобы здесь, на Земле, сохранялся генофонд, черпая из которого можно будет в случае необходимости утраченное восполнить.

Рот принца растянулся в злобной ухмылке.

— Прекрасно, Кайл, просто прекрасно! Только все это я уже слышал. И в это не верю. Дело в том, что теперь я вас увидел. И вы ни в чем не превосходите нас, живущих на Молодых Мирах. Это мы превосходим вас. Мы продолжали развиваться и изменились к лучшему, а вы остались на месте. И ты это прекрасно знаешь.— Он тихо рассмеялся, почти в лицо Кайлу.— И вы боялись одного: что мы об этом когда-нибудь узнаем.— Он опять засмеялся.— И теперь мы узнали — я узнал. Я крупнее, умнее и храбрее любого другого в этом баре, и не просто потому, что я сын императора, но потому что таким родился. С таким телом, мозгами и всем прочим! Я могу делать здесь что захочу, и никто на вашей планете меня не остановит. Смотри! — Внезапно он встал.— Сейчас я хочу, чтобы официантка со мной напилась. И на сей раз предупреждаю тебя об этом заранее. Может, остановить меня попробуешь ты?

Кайл поднял голову. Их глаза встретились.

— Нет, повелитель,— ответил он.— Моя работа не в том, чтобы вас останавливать.

Принц рассмеялся.

— Так я и думал,— сказал он.

И, резко повернувшись, пошел между столиками к стой-

ке, у которой официантка все еще беседовала с двумя мужчинами. Заказав кружку пива у старшего бармена, он повернулся лицом к залу, оперся о стойку локтями и обратился к девушке, прервав ее на полуслове.

— Мне давно хотелось поговорить с тобой,— услышал Кайл голос принца.

Официантка, немного удивленная, повернула голову и улыбнулась, узнав своего заказчика, слегка польщенная прямотой обращения, по достоинству оценив привлекательную наружность и ясный взгляд, делая скидку на его молодость.

— А вы не возражаете? — высокомерно продолжал он, глядя на мужчину повыше. — Нет?

Глаза их на секунду встретились. Резко, недовольно мужчина пожал плечами и отвернулся; спина его чуть сгорбилась.

— Вот видишь,— все так же улыбаясь, сказал принц.— Он тоже считает, что лучше тебе поговорить со мной, а не...

— Ну ладно, сынок. Пошутит, и будет.

Принц повернулся и с нескрываемым изумлением уставился на второго мужчину, с круглой головой, который произнес эти слова. Но тот уже обратился к своему более высокому другу, положив руку ему на плечо.

— А ну-ка возвращайся к нам, Бен,— сказал он.— Мальчик немного пьян, вот и все.— Он опять повернулся к принцу.— Катись отсюда,— произнес он.— Клара с нами.

Принц продолжал смотреть на него непонимающим взглядом. Взгляд был настолько растерянный, что круглоголовый возобновил прерванную беседу со своим другом и официанткой, считая, видимо, что инцидент исчерпан. И тут принц очнулся.

— Ну ладно,— сказал он и положил руку на мускулистое плечо круглоголового.

Тот чуть обернулся и спокойно сбил руку с плеча. Потом, все так же спокойно, поднял со стойки полную кружку заказанного принцем пива и выплеснул его тому в лицо.

— Проваливай,— безразлично и неторопливо произнес он.

В течение, может быть, секунды принц стоял как вкопанный, и капли пива стекали по его щекам. Потом, даже не

остановившись, чтобы протереть глаза, он нанес молниеносный удар левой, который недавно продемонстрировал в пивной.

Но круглоголовый, как Кайл увидел с первого взгляда, был не похож на мальчишку-официанта, с которым принц так легко управился. Этот был фунтов на тридцать тяжелее, лет на пятнадцать опытнее и по своему сложению и натуре прирожденный боец. Он не стал ждать удара, а присел и обхватил принца снизу своими большими сильными руками. Удар скользнул поверху, не причинив никакого вреда, и оба они, упав на пол, покатались между столиками, сбивая стулья.

Кайл прошел уже больше половины пути к дерущимся, когда все три бармена перепрыгнули через стойку в зал. Высокий друг круглоголового встал над дерущимися. Глаза его сверкали, и он чуть отвел ногу в сапоге назад, чтобы, уловив подходящий момент, пнуть принца в почки. Быстро и точно Кайл ударил его ребром ладони по горлу.

Хватая ртом воздух, высокий попятился. Кайл спокойно посмотрел на старшего бармена.

— Хорошо,— сказал бармен.— Но больше не вмешайтесь.— Он повернулся к своим молодым подручным.— Разнимите их.

Двое барменов в белых передниках, уже вернувшиеся за стойку, перегнулись через нее, а когда они выпрямились, их руки подняли на ноги круглоголового. Тот попытался было вырваться, но переплетенные пальцы молодых людей крепко держали его, и круглоголовый перестал вырваться.

— Пустите. Я еще не прочил его,— сказал он.

— Только не здесь,— отозвался старший бармен.— Выясняйте отношения на улице.

Цепляясь за столики, принц с трудом встал. Из ссадины на лбу у него ручьем текла кровь, лицо было белое как мел. Он посмотрел на Кайла, стоявшего рядом, но вместо слов из его горла вырвалось что-то среднее между рыданием и проклятием.

— Все,— сказал старший бармен.— Выкатывайтесь оба. Разбирайтесь на улице.

Вокруг круглоголового и принца столпились все, кто был в баре. Принц обвел их взглядом и, похуже, впервые осос-

знал, что его окружает стена людей. Он поискал взглядом глаза Кайла.

— На... улице? — спросил он задыхающимся голосом.

— Здесь вы не останетесь, — ответил за Кайла старший бармен. — Я все видел. Вы начали первый. Занимайтесь чем хотите, но не в моем баре. А теперь — вон!

Он подтолкнул принца, но тот, сопротивляясь, ухватился одной рукой за кожаный жакет Кайла.

— Кайл...

— Простите, повелитель, — ответил Кайл. — Тут я ничем не могу помочь. Я эту драку не затевал.

— Давай-ка выйдем, — сказал круглоголовый.

Принц оглядывал людей вокруг как какие-то невиданные существа.

— Нет... — Он отпустил кожаную куртку Кайла. Внезапно рука его метнулась молниеносно к кобуре у Кайла на поясе, и в руке этой появился пистолет. — Назад! — В голосе его послышались визгливые нотки. — Не смейте прикасаться ко мне!

При последних словах голос его сорвался. По толпе пронесся не то стон, не то вздох; люди расступились. Старший бармен, подручные, посетители — все, кроме Кайла и круглоголового, подались назад.

— Грязная тварь, — внятно сказал круглоголовый. — Я знал, что ты струсишь.

— Молчать! — Теперь визгливый голос принца то и дело срывался. — Молчать! И не смей идти за мной!

Он начал пятиться к выходу. Десятки глаз смотрели на него, люди затаили дыхание, даже Кайл не шелохнулся. Постепенно принц выпрямлялся. Поднял пистолет и, на мгновение остановившись, отер рукавом кровь, заливавшую глаза. Лицо его, однако, снова стало высокомерным.

— Свины! — сказал он. — Все вы свины!

Все так же пятясь, он вышел в дверь и захлопнул ее за собой. Кайл сделал один шаг и оказался рядом с круглоголовым. Глаза их на секунду встретились, и Кайл понял, что круглоголовый тоже узнал в нем Мужчину.

— Не ходи за нами, — сказал Кайл.

Круглоголовый не ответил. Но в ответе и не было необходимости. Он остался стоять на месте.

Кайл повернулся, подошел к двери сбоку и резким ударом

распахнул ее. Ничего не произошло, и он, выскользнув наружу, сразу нырнул вправо, чтобы не оказаться на линии огня, если в проем двери выстрелят.

Но выстрела не последовало. Несколько мгновений он не двигался, давая глазам постепенно привыкнуть к окружающей темноте. Потом, полагаясь больше на свою память, чем на зрение, направился к коновязи.

Принц уже отвязал серого мерина и собирался на него сесть.

— Повелитель,— сказал Кайл.

На какое-то мгновение принц снял руку с седла и оглянулся.

— Убирайся прочь,— тяжело сказал он.

— Повелитель,— продолжал Кайл голосом тихим и умоляющим.— Вы просто растерялись от неожиданности, потеряли голову. Это с каждым может случиться. Но теперь не ухудшайте положение. Верните мне пистолет, повелитель.

— Пистолет? — Молодой человек уставился на него и расхохотался.— Отдать тебе пистолет? Чтобы ты опять позволил кому-нибудь избить меня до полусмерти? Чтобы ты в очередной раз охранял других?

— Повелитель,— сказал Кайл,— очень прошу вас. Ради вашего собственного блага, верните мне пистолет.

— Прочь отсюда,— хрипло произнес принц, поворачиваясь и кладя руку на седло.— Прочь, пока я не всади́л в тебя пулю.

Кайл вздохнул медленно и печально. Он сделал шаг вперед и легонько похлопал принца по плечу.

— Повернитесь ко мне лицом, повелитель,— сказал он.

— Я предупреждал тебя! — крикнул принц.

Сталь пистолета блеснула в его руке, отразив свет, падающий из окон бара. Кайл пригнулся, приподнимая одновременно манжету брюк, и пальцы его сомкнулись на рукоятке кинжала в кожаных ножнах. Движения его были просты и ловки, у принца ушло бы на них вдвое больше времени, и Кайл вогнал кинжал ему в грудь до отказа, так что рука, сжимавшая рукоять, уперлась в облакавшую принца одежду.

Это был внезапный, резкий, быстрый и щадящий удар. Лезвие вошло точно между ребрами прямо в сердце, почти

не причинив боли. Одновременно с ударом послышался шум воздуха, выходящего из груди принца. Когда Кайл поймал принца, подставив руки, тот был мертв.

Перекинув длинное тело через седло мерина, Кайл крепко привязал его. Нашарил и сунул в кобуру упавший на землю пистолет. Вскочив на жеребца, отправился в долгий обратный путь, ведя серого в поводу.

Рассвет еще не наступил, а он уже перевалил через последний холм на пути к охотничьему домику, где впервые двадцать четыре часа тому назад увидел принца. За деревянными воротами во дворе показалась высокая, едва различимая в предрассветных сумерках фигура. Завидев Кайла, человек со всех ног к нему бросился. Это был наставник Монтлавен, и он заплакал, когда, подбежав к мерину, трясущимися руками начал развязывать тугие узлы веревки.

— Мне очень жаль,— услышал Кайл свой собственный голос и удивился, что он такой безжизненный и звучит словно откуда-то издалека.— У меня не было выбора. Вы прочитаете обо всем подробно завтра утром в моем отчете...

Кайл умолк. Из дверей домика появилась другая, еще более высокая, чем Монтлавен, фигура и, спустившись по ступенькам вниз, направилась прямо к Кайлу.

— Повелитель...— сказал Кайл.

С седла своего жеребца он посмотрел вниз, на такое же, как у принца, только изрезанное морщинами лицо под копной седеющих волос. Этот человек, в отличие от наставника, не плакал; на его окаменевшем лице не дрогнул ни один мускул.

— Что случилось, Кайл? — спросил он.

— Повелитель,— ответил Кайл,— завтра утром у вас будет отчет...

— Я хочу знать,— сказал высокий человек.

У Кайла пересохло в горле, перехватило дыхание. Он сглотнул, но легче ему не стало.

— Повелитель,— сказал он,— у вас еще три сына. Один из них станет императором, и планеты и дальше останутся едиными.

— Что он сделал? Кого обидел? Скажи мне!

Голос высокого человека прозвучал с такой же интонацией, что у принца в баре.

— Ничего. Никого,— с трудом ответил Кайл.— Избил юношу немногим старше себя. Слишком много пил. Обманул девушку. Важно не то, что он сделал кому-то другому. Он виноват перед самим собой.— У Кайла опять встал комок в горле.— Подождите до завтра, повелитель, и прочитайте мой отчет.

— Нет! — Высокий человек схватил лошадь Кайла за рожок седла с такой силой, что белый жеребец не мог двинуться с места.— Наши с тобой семьи связаны этим больше трехсот лет! В чем был изъян? Из-за чего сын не выдержал испытания здесь, на Земле? *Я должен знать!*

— Повелитель,— сказал Кайл, чувствуя, как его пересохшее горло обжигает боль,— он оказался трусом.

Рука упала с седельного рожка, будто сила внезапно ее покинула. И император ста миров отступил с видом побитой собаки.

Кайл тронул поводья и выехал из ворот на лесистый холм. Занималась заря.

Роберт Шекли

Чудовища

Кордовир и Хэм стояли на вершине скалистой горы и смотрели на новое явление. Оба были вполне довольны. За последнее время ничего новее не происходило — это точно.

— Между прочим,— заметил Хэм,— от него отражается солнце. Наверное, оно из металла.

— Похоже,— согласился Кордовир.— Но как оно держится в воздухе?

И оба уставились вниз, в долину, на новое явление. Над поверхностью покачивался остроконечный предмет. Из одного его конца вытекало нечто похожее на огонь.

— На огне,— ответил Хэм.— Это же ясно — даже если глаза старые, как у тебя.

Кордовир приподнялся на толстом хвосте, чтобы лучше видеть. Предмет опустился на почву, и огонь исчез.

— Посмотрим поближе? — спросил Хэм.

— Давай. Время как будто есть... Подожди! Какой сегодня день?

Хэм посчитал про себя, потом сказал:

— Пятый день луггата.

— Проклятье! — выругался Кордовир.— Мне нужно домой — убить жену.

— До захода солнца еще несколько часов,— сказал Хэм.— По-моему, у тебя хватит времени и на то и на другое.

Кордовир засомневался:

— Опаздывать не хотелось бы.

— Ты же знаешь, какой я быстрый,— сказал Хэм.— Если будем опаздывать, я поспешу и убью ее сам. Что скажешь?

— Очень благородно с твоей стороны,— похвалил Кордовир молодого соплеменника, и вместе они заскользили по крутому склону горы.

Перед металлическим предметом оба остановились и замерли, оперевшись на хвосты.

— Больше, чем я думал,— заметил Кордовир, окинув предмет взглядом. Пожалуй, чуть длиннее деревни, а по ширине уступает ей примерно вдвое.— Они проползли вокруг предмета — оказалось, металл был обработан.

Вдалеке зашло меньшее солнце.

— Наверное, надо возвращаться,— спохватился Кордовир, отметив, что стемнело.

— У меня еще есть время в запасе,— сказал Хэм, самодовольно поигрывая мускулами.

— Да, но каждый хочет убить свою жену сам.

— Делай как знаешь.

И они заспешили в сторону деревни.

Дома жена Кордовира заканчивала готовить ужин. Она стояла спиной к двери — этого требовал этикет. Кордовир убил ее взмахом хвоста, выволок тело за порог и сел ужинать.

Поев, поразмышляв, он отправился на Сборище. Хэм — ох, эта нетерпеливая молодежь! — уже был там и рассказывал о металлическом предмете. Ужин-то небось проглотил, подумал Кордовир с легкой неприязнью.

Когда молодой кончил говорить, Кордовир поделился своими наблюдениями. К сказанному Хэмом он, по сути, добавил одну мысль: внутри металлического предмета могут оказаться разумные существа.

— Почему ты так думаешь? — спросил Мишилл, еще один старец.

— Во-первых, когда предмет опускался, был виден огонь,— объяснил Кордовир.— Во-вторых, когда предмет опустился, огонь погас. Полагаю, его погасило какое-то существо.

— Необязательно,— возразил Мишилл. Жители деревни заспорили и просидели за пересудами далеко за полночь. Потом они закончили собрание, похоронили убитых жен и разошлись по домам.

Лежа в темноте, Кордовир понял, что еще не выяснил своего отношения к новому явлению. Допустим, там, внутри, разумные существа, но нравственны ли они? Есть ли для них разница между добром и злом? «Сомнительно»,— сказал себе Кордовир и заснул.

На следующий день все мужское население деревни отпра-

вилось к металлическому предмету. Это было правильное решение, поскольку в обязанности самцов входило изучать новые явления и ограничивать число самок. Все расположились вокруг предмета и стали гадать, что же там внутри.

— Там наверняка окажутся существа, подобные нам,— высказал мнение Эсктел, старший брат Хэма. Кордовир в знак несогласия покачал всем телом.

— Скорее всего чудовища,— сказал он.— Если учесть...

— Необязательно,— возразил Эсктел.— Задумайся над логикой нашего физического развития. Мы прекрасно обходимся одним глазом...

— Но в великом Запределье,— сказал Кордовир,— может быть столько странных тварей, большинство наверняка на нас не похожи. И среди бесконечно огромного...

— И все-таки,— вставил Эсктел,— логика нашего развития...

— Как я уже сказал,— продолжал Кордовир,— вероятность того, что они будут на нас похожи, бесконечно мала. К примеру, этот их аппарат. Разве мы стали бы строить...

— Но если строго придерживаться логики,— настаивал Эсктел,— то станет ясно...

Кордовира перебили в третий раз. Одним движением хвоста он отшвырнул Эсктела, тот ударился о стенку металлического предмета и рухнул замертво.

— Я всегда считал моего брата грубияном и невежей,— сказал Хэм.— Так о чем ты говорил?

Но Кордовиру снова не дали закончить. Кусок металла, вделанный в больший кусок металла, скрипнул, повернулся, поднялся — и появилось нечто.

Кордовир сразу понял, что оказался прав. У выползшего из отверстия существа было два хвоста. Снизу доверху оно было покрыто чем-то непонятным — отчасти металл, отчасти шкура. А цвет! Кордовир содрогнулся.

Цвет напоминал мокрую, вывернутую наизнанку плоть.

Все местные подались назад: что же будет делать это страшилище? Поначалу оно не делало ничего. Просто стояло на поверхности металла и двигало из стороны в сторону лукообразным предметом, торчавшим над туловищем. Но само туловище не двигалось, и смысл жестов был неясен. Наконец существо подняло оба щупальца и издало какие-то звуки.

— Может, оно пытается нам что-то сообщить? — негромко спросил Мишилл.

В отверстии появились еще три создания, в щупальцах они держали металлические трубки. Повернувшись друг к другу, они стали издавать какие-то звуки.

— С нами у них нет ничего общего — это ясно, — решительно заявил Кордовир. — Возникает вопрос: нравственны ли они?

Одно из существ сползло по металлической обшивке вниз и ступило на твердую почву. Остальные направили книзу свои металлические трубки. По-видимому, это была какая-то религиозная церемония.

— Разве может такая мерзость быть нравственной? — спросил Кордовир, всей шкурой ощутив омерзение. Создания оказались жуткими, какие и во сне не приснятся. Луковица поверх туловища — это, наверное, голова, решил Кордовир, хотя таких голов он в жизни не видел. Но в середине головы на месте привычной гладкой поверхности торчал бугор. С обеих сторон от него было два круглых углубления, а за каждым из них — по наросту. В нижней части головы — если это все-таки голова — поперек шел бледно-розовый рубец. Что ж, решил Кордовир, если слегка пофантазировать, его можно принять за рот.

Но было и кое-что еще. Существа производили впечатление, что у них есть кости. Когда они двигали конечностями, движения их не были гладкими, плавными и текучими, как у Хэма или Кордовира, скорее — судорожными и резкими: так качаются ветки на дереве.

— Боже правый! — в изумлении воскликнул Гилриг, представитель среднего поколения. — Мы должны убить их, чтобы они не мучились на этом свете!

Подобные мысли возникали и у других, и жители деревни волной покатались вперед.

— Погодите! — крикнул кто-то из молодых. — Давайте пообщаемся с ними, если это реально! Вдруг они все же нравственные существа. Помните, Запределье огромно, всякое может быть.

Кордовир высказался за немедленное уничтожение, но все остановились и заспорили. Со свойственной ему бравадой Хэм плавно приблизился к существу, которое спустилось вниз.

— Привет,— сказал Хэм.

Существо что-то ответило.

— Ничего не понимаю,— сказал Хэм и начал отползать. Странное создание помахало сращенными щупальцами — если это были щупальца — и указало на одно из солнц. Потом издало какой-то звук.

— Да, действительно, сегодня тепло,— дружелюбно ответил Хэм.

Страшилище указало себе под ноги и издало другой звук.

— В этом году у нас с урожаем дела не очень,— поддержал разговор Хэм.

Страшилище указало на себя и произвело новый звук.

— Верно,— согласился Хэм.— Ты страшнее чучела.

Тем временем местные жители проголодались и поползли обратно в деревню. Хэм задержался, прислушиваясь к звукам, которые издавали существа, а Кордовир, нервничая, ждал его.

— Знаешь,— сказал Хэм, присоединяясь к Кордовиру,— по-моему, они хотят выучить наш язык. Или чтоб я выучил их язык.

— Не делай этого! — воскликнул Кордовир, потому что смутно почувствовал: тут и до беды недалеко.

— Пожалуй, я этим займусь,— пробормотал Хэм. Вдвоем они вскарабкались на утесы, за которыми скрывалась их деревня.

Ближе к вечеру Кордовир пошел в хранилище избыточных самок и сделал молодой женщине официальное предложение: не согласится ли она царствовать в его доме двадцать пять дней? Естественно, самка с благодарностью согласилась.

По пути домой Кордовир встретил Хэма — тот направлялся в хранилище.

— Только что убил жену,— сообщил Хэм, хотя это и так было ясно, иначе что ему делать в хранилище избыточных самок?

— Завтра опять собираешься к этим страшилищам? — спросил Кордовир.

— Возможно,— ответил Хэм.— Если не появится что-нибудь поновее.

— Главное — выяснить, нравственные они существа или чудовища.

— Точно! — согласился Хэм и заскользил дальше.

В тот вечер после ужина было Сборище. Все согласились, что существа не могут быть разумными. Кордовир изо всех сил доказывал, что сама их внешность говорит об этом. И подобной мерзости наверняка чужды какие-либо нравственные устои, понятие о добре и зле, и, самое главное, у них нет потребности говорить правду.

Молодежь не соглашалась — наверное, потому, что в последнее время с новыми явлениями стало туго. Молодые считали, что металлический предмет — бесспорно, продукт интеллекта. Интеллект автоматически подразумевает умение отделять одно от другого. В том числе и добро от зла.

Спор удался на славу. Олголеп возразил Арасту, и тот его убил. Маврт, личность вообще-то спокойная, вдруг разгневался и убил трех братьев Холианов, но тут же был убит Хэмом, который так и рвался в бой. Даже избыточные самки обсуждали волновавший всех вопрос — было слышно, как они спорили в своем хранилище на краю деревни.

Усталые, но счастливые жители разошлись по домам.

Почти целый месяц спорам не было конца. Но жизнь, в общем, шла своим чередом. По утрам жены выходили из домов, собирали пищу, откладывали яйца. Яйца относили в хранилище избыточных самок и там высиживали. Как обычно, на восемь самок рождался один самец. Через двадцать пять дней после свадьбы, а то и раньше каждый мужчина убивал жену и брал себе другую.

Мужское население ходило к кораблю — послушать, как Хэм осваивает незнакомый язык. Потом им это надоело, и они снова принялись бродить по холмам и лесам в поисках новых явлений.

Пришельцы-чудовища держались возле своего корабля, выходили из него, лишь когда появлялся Хэм.

Через двадцать четыре дня после их прилета Хэм объявил, что ему удалось наладить с ними какое-то подобие общения.

— Они говорят, что прилетели издалека, — рассказывал Хэм в тот вечер жителям деревни. — Что они двуполые, как и мы, что они, как и мы, разумные. А что отличаются от нас, так на то, мол, есть свои причины. Правда, здесь я не очень хорошо их понял.

— Но если согласиться с тем, что они разумные, — сказал

Мишилл,— тогда мы должны поверить и всему остальному.

Все закачались в знак согласия.

— Они говорят, что не хотят вмешиваться в нашу жизнь, но будут рады понаблюдать за ней. Они хотят прийти в деревню и посмотреть, как мы живем.

— Пусть приходят,— высказался кто-то из молодежи.

— Нет! — вскричал Кордовир.— Вы хотите впустить в наш дом зло! Эти чудовища коварны. Я уверен, они даже способны... сказать неправду.

Остальные старцы согласились, но тут возмутилась молодежь, и оказалось, что подкрепить свое злое обвинение Кордовир нечем.

— Ну хорошо,— воскликнул Сил,— они выглядят как чудовища, но совсем не обязательно, что они и мыслят как чудовища.

— Обязательно,— возразил Кордовир, но большинство согласилось с Силом.

Хэм продолжил рассказ:

— Они предложили мне — или нам, точно не понял — разные металлические предметы, которые якобы делают разную работу. Я не стал говорить им, что это нарушение этикета: все равно они в нем ничего не понимают.

Кордовир кивнул. Растут молодые! Хэм, по крайней мере, начинает показывать, что кое-какие правила поведения он усвоил.

— Они хотят прийти в деревню завтра.

— Нет! — вскричал Кордовир, но снова оказался в меньшинстве.

— Кстати,— вспомнил Хэм.— Среди них есть несколько самок. У них ярко-красные рты. Интересно посмотреть, как самцы будут их убивать. Завтра — двадцать пятый день, как они прилетели.

На следующий день существа, медленно и с большим трудом перебравшись через утесы, приползли в деревню. Местные жители сразу заметили исключительную хрупкость их конечностей, крайнюю неуклюжесть движений.

— Красотой тут и не пахнет,— пробурчал Кордовир.— И друг от друга их не отличишь.

В деревне существа повели себя весьма нескромно. Они заползали в дома и выползали обратно. Вовсю тараторили

в хранилище избыточных самок. Брали яйца и внимательно их разглядывали. Смотрели на местных жителей через какие-то черные и блестящие штуковины.

Во второй половине дня Рантан, один из старцев, решил, что с женой пора кончать. Поэтому он оттолкнул существо, которое осматривало его дом, и ухлопал свою благоверную.

Тотчас два существа что-то затараторили и поспешили вон из дома.

Одно из них оказалось красноротой самкой.

— Наверное, он вспомнил, что ему тоже пора убить жену, — предположил Хэм.

Жители ждали, но ничего такого не произошло.

— Может, — заговорил Рантан, — он хочет, чтобы его жену убил кто-нибудь другой? Может, в их краях такой обычай?

И без дальнейших раздумий ударил самку чудовищ хвостом.

Тогда их самец издал ужасный звук и навел на Рантана металлическую трубку. Он убил Рантана.

— Странно, — сказал Мишилл. — Это должно означать неодобрение?

Существа, прилетевшие в металлическом предмете — их было восемь, — прижались друг к другу. Один держал погибшую самку, остальные направляли металлические трубки в разные стороны. Хэм подошел спросить, в чем дело.

— Не понял, — сообщил Хэм, поговорив с ними. — Они сказали слова, которых я не знаю. Но похоже, они нас в чем-то упрекают.

Чудовища стали пятиться назад. Тут еще один местный решил, что время пришло, и убил стоявшую в дверях жену. Чудовища остановились и снова о чем-то между собой затараторили. Потом сделали движение шупальцами, подзывая Хэма.

Поговорив с ним, Хэм как-то странно задвигал всем телом.

— Если я правильно понял, — сказал он, — они приказывают нам больше не убивать наших женщин.

— Что? — воскликнул Кордовир, а вместе с ним еще десяток жителей.

— Сейчас переспрошу. — И Хэм вернулся к чудовищам, которые размахивали металлическими трубками, зажатыми в шупальцах. — Все точно, — подтвердил Хэм.

Не теряя времени даром, он щелкнул хвостом — и одно из чудовищ отлетело на другой конец деревенской площади. Остальные чудовища тут же начали отступать, наставив на местных свои трубки.

Когда они скрылись, жители деревни подсчитали потери — погибло семнадцать самцов. Хэм куда-то исчез.

— Ну, теперь вы мне поверите? — закричал Кордовир. — Эти страшилища умышленно сказали неправду! Они обещали вести себя смирно, а потом убили семнадцать из нас. Это не просто безнравственно — это преднамеренное убийство!

Такое для разумного существа было сверх всякого понимания.

— Умышленно сказали неправду! — выкрикнул Кордовир страшные слова, задыхаясь от омерзения. Мужчины редко говорили о том, что кто-то способен сказать неправду, это просто не укладывалось в голове.

Жители деревни были вне себя от ярости и отвращения: они в полной мере ощутили, что представляет собой лживое существо. К тому же чудовища совершили преднамеренное убийство!

Казалось, самый жуткий кошмар обернулся явью. Вдруг выяснилось, что эти создания не убили ни одной самки. Выходит, своим самкам они разрешают плодиться без всякого удержу? От такой мысли замутит даже здорового мужчину!

Избыточные самки высыпали из своего хранилища и вместе с женами потребовали объяснить им, что случилось. Получив ответ, они вознегодовали вдвое больше мужчин, что вообще свойственно женской природе.

— Убейте их! — вопили избыточные самки. — Не позволяйте им покушаться на наши обычаи! Не позволяйте им сеять безнравственность!

— Они правы, — грустно сказал Хэм. — Я должен был предвидеть такое.

— Убейте их немедленно! — надрывалась одна самка.

Она была избыточной и имени пока не имела, но с лихвой восполняла этот недостаток тем, что была яркой личностью.

— Мы, женщины, желаем только одного: жить нравственной и скромной жизнью, высиживать яйца в хранилище, пока не придет время для замужества. А потом — двадцать пять до исступления насыщенных дней! Разве мы можем желать большего? Эти чудовища замахиваются на наш образ

жизни! Они хотят превратить нас в таких же уродов, как они сами.

— Ну, теперь убедились? — закричал Кордовир на мужчин. — Я предупреждал вас, пытался растолковать, но вы отмахивались от меня. А молодежь должна слушать стариков в минуты опасности. — Он так разъярился, что ударом хвоста убил двух молодых. Остальные наградили его аплодисментами.

— Изгоните их! — распорядился Кордовир. — Не то они развратят нас!

И все самки кинулись убивать чудовищ.

— У них есть смертоносные трубки, — заметил Хэм. — Самки знают?

— Думаю, что нет, — сказал Кордовир. Он теперь совершенно успокоился. — Лучше догони их и предупреди.

— Я устал, — недовольно сказал Хэм. — Все время за переводчика. Может, ты догонишь?

— Ладно, давай догоним вдвоем, — сказал Кордовир, которому надоели капризы Хэма. Вместе с половиной деревни они поспешили за самками.

Они догнали их на краю утеса, возвышавшегося над металлическим предметом. Пока Хэм рассказывал о смертоносных трубках, Кордовир думал.

— Сбрасывайте на них камни! — велел он самкам. — Может, сумеете пробить металлическую обшивку.

Самки рьяно принялись за дело, и с утеса вниз посыпались камни. Некоторые и вправду попали по кораблю. Оттуда тотчас вылетели струйки красного пламени, и самки погибли. Почва затряслась.

— Отходим назад! — распорядился Кордовир. — Самки управятся и без нас, а у меня от этой тряски голова кружится.

И вместе с остальными самцами он удалился на безопасное расстояние, чтобы оттуда следить за событиями.

Самок словно косило косой, но погибших тут же заменяли жительницы других деревень — они прослышали об угрозе. Они сражались за свои дома, за свои права, сражались с неслыханной яростью, лучше любого самца. Вылетающие из корабля огненные языки носились по всему утесу, но огонь освобождал камни, и те дождем барабанили по металлу.

Наконец из одного конца металлического предмета вырвалось большое пламя.

Начался обвал, но непонятный предмет уже поднялся в воздух. Он чуть не врезался в гору. Потом постепенно набрал высоту, превратился в маленькую точку на фоне большого солнца. И исчез.

Вечером выяснилось, что погибло пятьдесят три самки. Это было очень кстати: количество избыточных самок снизилось. Проблема с ними стояла очень остро — ведь одним махом деревня лишилась семнадцати самцов.

Кордовира распирало от гордости. Его жена доблестно сражалась и погибла в бою, но он сразу же взял новую.

— Пожалуй, какое-то время придется убивать жен чаще, чем раз в двадцать пять дней,— сказал он на вечернем Сборе. — Пока положение не придет в норму.

Оставшиеся в живых самки услышали его из хранилища и бешено заплодировали.

— Интересно, куда они полетели? — спросил Хэм, обращаясь ко всем сразу.

— Будут искать каких-нибудь беззащитных тварей, чтобы поработить их,— предположил Кордовир.

— Необязательно,— отозвался Мишилл, положив начало очередному вечернему спору.

Кордвейнер Смит

Нэнси

Перешагнув порог кабинета, Гордон Грин увидел там двух глядящих на него мужчин. Молодого адъютанта можно было не заметить. Не заметить генерала было нельзя. Генерал сидел там, где ему и надлежало сидеть: за своим письменным столом. И хотя стол, словно утверждая свое главенство, стоял в середине кабинета, невозможно было не обратить внимания на деликатность генерала: шторы были наполовину задернуты, чтобы в глаза тому, кто к нему пришел, не бил солнечный свет.

Генерала (точнее, генерал-полковника) звали Венцель Валленстайн, и он был первый человек, рискнувший отправиться в дальний космос. Ни до одной звезды долететь ему не удалось, как и никому другому в те времена, однако побывал он дальше, чем любой до него.

Валленстайн выглядел стариком, хотя лет ему было не так уж много, меньше девяноста, а в те времена многие люди доживали уже до ста пятидесяти. Состарила Валленстайна непрерывная напряженная работа мысли — именно она, а не страх, не соперничество и не болезни.

При этом Валленстайн оставался абсолютно уравновешенным, и молодой лейтенант Грин не без удивления обнаружил, что сейчас, в первую свою встречу с главой организации, уже испытывает к тому безоговорочную симпатию.

— Ваше имя?

— Гордон Грин, — ответил лейтенант.

— С самого рождения?

— Нет, сэр.

— А какое было?

— Джордано Верди.

— Почему переменяли? Верди тоже великолепная фамилия.

— Другим было трудно ее произносить, вот и все, сэр. Из-за этого я и решил сменить.

— Я свое имя сохранил,— сказал старый генерал.— Но это дело вкуса, наверное.

Молодой лейтенант поднял левую руку ладонью наружу, в новом варианте военного приветствия, совсем недавно изобретенном психологами. Это означало, что младший по званию просит у старшего разрешения говорить не по уставу, неформально. Хотя лейтенант это сделал, он вовсе не был убежден, что поступает правильно.

Однако генерал мгновенно ответил тем же — поднял левую руку ладонью наружу.

Лицо генерала, тяжелое, усталое, умное, напряженное, оставалось прежним. Он был весь внимание. Глаза смотрели на лейтенанта с обычным дружелюбием. Было ясно: если глаза генерала и пытаются что-то скрыть, то лишь обременяющие его заботы, которым не видно было конца.

Лейтенант заговорил снова, теперь увереннее:

— Это что, собеседование, генерал? У вас для меня какое-то задание? Если да, сэр, то я обязан предупредить вас: меня признали эмоционально неустойчивым. Отдел кадров ошибается нечасто, но, может, все-таки к вам они меня направили по ошибке?

Генерал улыбнулся. Улыбка тоже была его обычная: ею управляло сознание, а не только чувства.

— Вы узнаете, зачем я вас вызвал, лейтенант, после того, как мы с вами поговорим. Я сейчас приглашу еще одного человека, и тогда вы получите какое-то представление о вашем возможном будущем. Вы просились в дальний космос и считайте, что я отправить вас туда согласен. Вопрос теперь в одном: вы хотите этого на самом деле? Готовы к этому? Очевидно, именно в связи с этим вы просили о неформальном разговоре?

— Да, сэр.

— Напрасно, с таким вопросом вы могли ко мне обратиться даже в рамках устава. Но давайте не будем влезать слишком глубоко в психологические дебри. Ведь в этом и необходимости нет, правда?

И генерал опять одарил лейтенанта своей тяжелой улыбкой. Потом повернул голову к адъютанту, и тот стал по стойке «смирно».

— Зовите его,— сказал Валленстайн.

— Есть, сэр,— ответил ему адъютант.

Генерал и Гордон Грин остались ждать. Почти тут же быстрым, энергичным, веселым шагом в комнату вошел странный лейтенант.

Никого похожего на этого лейтенанта Гордон Грин никогда не видел. Лейтенант был немолод, почти такого же возраста, как генерал, но при этом на лице у него не было ни одной морщинки, ни малейшего намека на напряжение — лицо дышало довольством и оптимизмом. На груди у вошедшего красовались три высшие награды Космической Службы, и однако он, уже старик, до сих пор почему-то оставался лейтенантом.

Почему, было непонятно. Человека этого лейтенант Грин видел впервые. Естественно встретить молодого лейтенанта, но уж никак не такого, которому за семьдесят или даже за восемьдесят. В такие годы бывали уже полковниками, или в отставке, или переходили из Космической Службы куда-нибудь еще.

Космосу нужны были молодые.

Увидев своего ровесника, генерал встал. От удивления глаза лейтенанта широко раскрылись: уж очень это было странно. Он никогда не слышал, чтобы командующий был склонен пренебрегать субординацией.

— Садитесь, сэр,— сказал странный немолодой лейтенант.

Генерал сел.

— Что вам теперь от меня нужно? — спросил немолодой лейтенант. — Чтобы я опять рассказал про Нэнси?

— Про Нэнси? — растерянно повторил за ним генерал.

— Ну да, сэр. Историю, которую я рассказываю юнцам. Уж вы-то не раз ее слышали, давайте не будем притворяться, будто это не так.

И, повернувшись к Гордону, странный лейтенант сказал:

— Мое имя Карл Вондерлейен. Вы обо мне слышали?

— Нет, сэр,— ответил молодой лейтенант.

— Так услышите,— сказал немолодой лейтенант.

— Не злись, Карл,— заговорил генерал. — Не одному тебе пришлось худо, многим другим тоже. Я побывал там же, где и ты, и я генерал. Ты бы хоть из вежливости мне позавидовал.

— А я не завидую тебе, хоть ты и генерал. Ты прожил свою жизнь, я — свою. Ты знаешь, что ты потерял, или

думаешь, что знаешь, а я знаю, что я приобрел, знаю абсолютно точно.

Тут немолодой лейтенант перестал обращать внимание на командующего. Он повернулся к Гордону Грину и, обращаясь к нему, заговорил:

— Вы собираетесь в дальний космос, поэтому мы с генералом разыгрываем пьеску, небольшой водевильчик. У генерала Нэнси не было. Он решил обойтись без нее. За помощью не обратился. Полетел в верходаль — и справился. Его хватило на все три года. Три года, равные трем миллионам лет. Побывал в преисподней — и вернулся. Посмотрите на его лицо. Он воплощение удачи, самой что ни на есть настоящей, черт его побери, — и сидит вымотанный, усталый и, похоже, обделенный. А теперь посмотрите на меня, лейтенант. Я — воплощение неудачи. Я так и остался лейтенантом, Космическая Служба не повышает меня в звании.

Генерал молчал, и Вондерлейен заговорил снова:

— О, в отставку, когда придет время, меня, я думаю, проведут как генерала. Но уходить в отставку я еще не собираюсь. Никаких оснований переходить куда-нибудь из Космической Службы не вижу. Что мне было нужно, я имел.

— А что вы имели, сэр? — спросил, набравшись смелости, лейтенант Грин.

— Нэнси. А у него ее не было, — ответил немолодой лейтенант. — Вот и вся разница.

— Не так все плохо и не так все просто, лейтенант Грин, — вмешался в разговор генерал. — Похоже, сегодня лейтенант Вондерлейен не в духе. А ведь мы с ним должны вам кое-что рассказать, но как поступить, решать придется вам самому, — и генерал посмотрел на молодого лейтенанта пронизывающим взглядом. — Вам известно, что мы сделали с вашим мозгом?

— Нет, сэр.

— Вы слышали о вирусе «сокта»?

— О чем, сэр?

— О вирусе «сокта». «Сокта» — слово из существовавшего в древности языка, корейского; на языке этом говорили в стране западнее того места, где была Япония. Слово это означает «может быть», и именно «может быть» мы вложили вам в мозг. Это совсем крохотный кристаллик, его увидишь только под микроскопом. На корабле есть устройство, кото-

рое, если пустить его в ход, путем резонанса детонирует вирус. Если вы вирус детонируете, вы станете таким, как лейтенант Вондерлейен. Если не детонируете, то станете таким, как я,— исходя, разумеется, из того, что в обоих случаях вы останетесь в живых. Конечно, может случиться, что вы не вернетесь, и тогда то, о чем мы говорим, представляет лишь теоретический интерес.

Собравшись с духом, лейтенант Грин спросил:

— Как детонация вируса на мне скажется? Почему вы считаете, что вирус этот для меня так важен?

— Подробнее рассказать вам об этом мы не можем. Причины разные, одна из них в том, что подробности здесь даже не заслуживают того, чтобы о них говорили.

— То есть... вы вправду не можете сказать, сэр?

Грустно и устало генерал покачал головой.

— Не могу. Я это упустил, он это имел, и, однако, говорить об этом почему-то невозможно.

Когда, через много лет, двоюродный брат это мне рассказывал, я спросил его:

— Но что же получается, Гордон? Они утверждали, что говорить об этом невозможно, а ты запросто мне рассказываешь.

— Спьяна, человеке, спьяна,— ответил мне двоюродный брат.— Думаешь, легко мне было подвигнуть себя на этот разговор? Больше не расскажу никогда и никому. А потом, ты мой двоюродный брат, ты не в счет. И самой Нэнси я обещал, что никому не буду о ней рассказывать.

— Кто такая эта Нэнси? — спросил я его.

— В ней все дело,— ответил он.— Она здесь главное. Как раз это и пытались вбить мне в башку самодовольные старики в том кабинете, такие жалкие и глупые. И ничего они не понимали. Ни тот, кому довелось узнать Нэнси, ни тот, которому не довелось.

— Эта Нэнси, она существует на самом деле?

И тогда он рассказал мне историю до конца.

Они говорили с ним о нем жестко. Говорили откровенно, напрямик. Выбор был сформулирован предельно ясно. Валленштайн не скрывал: он хочет, чтобы Грин вернулся живым. Это была линия, которой неукоснительно следовало руковод-

ство Космической Службы: пусть лучше космонавт вернется несправившимся, но живым, чем героем, но мертвым. Не так уж много было космонавтов, способных пролагать пути в дальнем космосе. К тому же, если бы люди считали, что полет в дальний космос равнозначен самоубийству, это неизбежно деморализовало бы личный состав Службы.

Занимались только его психологией, и в конце концов Грин совсем растерялся.

Снова и снова генерал весело, немолодой лейтенант грустно вдалбливали ему, что все это очень серьезно.

Сам же лейтенант Грин не мог понять, почему ему симпатичен генерал и абсолютно безразличен немолодой лейтенант. Ведь, казалось бы, сочувствовать он должен был бы как раз второму.

Только через полтора миллиарда миль, через четыре месяца по земному времени, через четыре жизни, если мерить тем, что он за это время пережил, Грин понял, о чем тогда ему говорили. Они говорили о давно известной психологам истине: одиночество человеку противопоказано. При конструировании кораблей для дальних полетов это учитывалось. На каждом летели двое. На каждом был большой запас магнитозаписей и по нескольку животных, хотя никакой необходимости в животных на корабле не было; в его случае это оказалась пара хомяков. Чтобы не возникло проблемы с кормлением детенышей, хомяков, разумеется, стерилизовали, но тем не менее их маленькое семейство демонстрировало в миниатюре счастье жизни, как его понимают на Земле.

Теперь Земля была очень далеко.

И тут умер напарник лейтенанта Грина.

И тогда опасности, до этого маячившие смутно где-то на заднем плане, приблизились и встали перед Грином во весь свой исполинский рост.

Тут-то и понял он, что именно пытались ему втолковать генерал и немолодой лейтенант.

Все его мысли сосредоточились теперь вокруг хомяков. Он прижимался лицом к их клетке и разговаривал с ними. Был уверен, что понимает их настроения. Пытался жить их интересами, словно это были люди.

Словно сам по-прежнему был среди людей, был их живой частицей, а не находился здесь, в пустоте, где за тонкой стенкой из металла выло безмолвие.

Он перестал ощущать время. Знал, что теряет рассудок, и знал также, что полученная им подготовка, если он потеряет рассудок не целиком, поможет ему выжить. Он теперь понял даже, что оборотной стороной обнаруженной у него эмоциональной неустойчивости, побуждавшей его сомневаться в своей пригодности для Космической Службы, является, по-видимому, способность верить и надеяться, которая считалась абсолютно необходимой для космонавтов и терять которую он начал только теперь.

Снова и снова возвращался он мысленно к короткому разговору о Нэнси и вирусе «сокта».

Что же такое они ему сказали?..

Сказали, что он может позвать какую-то Нэнси. По совести говоря, Нэнси вовсе не любимое его женское имя. Но это неважно, вирус всегда срабатывает. Нужно только стать в определенном месте салона таким образом, чтобы голова была на определенном расстоянии от пола и от стены, нажать на стене только раз кнопку резонатора — и он не выполнит задания, зато обретет счастье и вернется домой живым.

Такое не укладывалось в голове. Что за странный выбор?

Прошло, как ему показалось, три тысячи лет, прежде чем он, готовясь к этому, продиктовал в бортовой журнал свой последний рапорт Космической Службе. Он не знал, что произойдет. Неоспоримо было, что немолодой лейтенант Вондерлейен или как там его зовут жив до сих пор. Но жив и генерал. Генерал справился. Лейтенант — нет.

А теперь этот выбор предстояло, в полутора миллиардах миль от Земли, сделать ему, Гордону Грину. И он его сделал. Он решил стать несправившимся.

Но нарушение дисциплины, которое он теперь намерен был совершить, его совсем не радовало, и он чувствовал себя обязанным продиктовать в бортовой журнал, чтобы оправдаться перед людьми, короткое к ним обращение:

«... вот почему, джентльмены, я принял решение нажать кнопку резонатора. Мне неизвестно, что означает содержащееся в той беседе упоминание о Нэнси. Я понятия не имею, как подействует вирус «сокта», — знаю только, что благодаря ему не смогу выполнить данное мне задание. Это вызывает во мне стыд. Я сожалею о свойственной человеку слабости, побуждающей меня так поступить. Вы, джентльмены, и сами

допускали возможность того, что я вынужден буду ей поддаться. В этом смысле за то, что я не выполнил задания, отвечаю не я, а Космическая Служба, давшая мне право его не выполнить. Джентльмены, простите мне горечь и обиду, окрашивающие в эти мгновения мое прощание с вами, но тем не менее я с вами прощаюсь».

Он перестал диктовать, поморгал глазами, посмотрел на хомяков (в кого они, интересно, превратятся, когда вирус «сокта» начнет действовать?) и нажал кнопку.

Ничего не произошло. Он нажал кнопку снова.

Внезапно корабль наполнился странным запахом. Что это за запах? Он этого запаха не знал.

И вдруг он понял, что пахнет свежескошенным сеном, и слегка геранью, и, может быть, чуть-чуть розами. Так пахло на ферме, где за несколько лет до этого он провел три летних месяца. Запах напомнил ему о матери, когда та выходила на крыльцо и звала его завтракать или обедать, и о нем самом, в достаточной мере мужчине, чтобы быть снисходительным к женщине в собственной матери, и в достаточной мере ребенку, чтобы радостно обернуться, услышав знакомый голос.

Он подумал: «Если действие вируса выражается только в этом, я и дальше смогу работать не хуже, чем прежде».

И еще подумал: «В полутора миллиардах миль от Земли, где, кроме двух хомяков, некому скрасить мне годы одиночества, несколько галлюцинаций мне не повредят».

Дверь открылась.

Открыться она не могла.

Тем не менее она открылась.

Грина охватил страх, какого он не испытывал никогда в жизни. Не отрывая взгляда от открывшейся двери, он повторял про себя: «Я спятил, спятил».

Вошла девушка. Она сказала:

— А, это ты? Привет! Надеюсь, ты меня узнал?

— Нет-нет, мисс, я вас не знаю, кто вы такая?

Девушка не ответила. Она только, оставаясь на месте, улыбнулась.

На ней была расклешенная синяя саржевая юбка на корсаже, пояс из той же ткани, простенькая блузка. В девушке не чувствовалось ничего странного, и она безусловно не была существом из космоса.

Он знал ее, знал хорошо. Возможно, любил. Просто он не мог сейчас вспомнить, кто она.

Она на него смотрела. И только.

Он сразу догадался. Все стало на свои места. Конечно, это и есть Нэнси. Не просто Нэнси, о которой они тогда говорили, а *его* Нэнси, его собственная, которую он всегда знал, но впервые встретил сейчас.

Он собрался с духом и сказал ей:

— Я не знаю тебя, но откуда-то все-таки тебя знаю. Ты Нэнси, и я знал тебя всю жизнь и всегда хотел на тебе жениться. Я в тебя всегда был влюблен, а ведь я никогда до этого тебя не видел. Это странно, Нэнси. Невероятно странно. Мне это непонятно, а тебе?

Нэнси подошла и приложила руку к его лбу. Это была настоящая маленькая ручка, и неописуемо приятно было общество Нэнси, ничего приятней он не мог бы себе представить. Она сказала:

— В этом надо разобраться. Видишь ли, меня нет, нет ни для кого, кроме тебя. И для тебя ничто и никогда не будет более реальным, чем я. Вот что такое вирус «сокта», дорогой. Это я. А я — это ты.

Он смотрел на нее не отрывая глаз.

Если еще недавно он чувствовал себя несчастным, то теперь это прошло, он был так рад, что она появилась! Он сказал:

— Как это понимать? Что тебя создал вирус «сокта»? Может быть, я сошел с ума и это всего лишь галлюцинация?

Нэнси покачала головой, и ее красивые кудри, растрепавшись, стали еще пышнее.

— Нет, дело совсем не в этом. Просто я — все девушки, которых ты желал в своей жизни. Я мечта, к которой ты всегда стремился, но я — это и ты, потому что я появилась из твоих глубин. Я все, что тебе не удалось найти в жизни. Все, о чем ты боялся даже грезить. Я появилась и здесь останусь. И в корабле этом мы с тобой будем жить душа в душу.

Тут мой двоюродный брат разрыдался. Взял оплетенную бутылку густого красного вина, испанского или итальянского, и налил себе большой стакан. Некоторое время он пла-

кал. Потом, положив голову на стол, посмотрел на меня и сказал:

— Мы были с ней вместе в корабле очень долго, и я до сих пор помню, как она разговаривала со мной. И я понимаю теперь, почему считают, что говорить об этом не следует. Надо быть жутко пьяным, чтобы рассказать другим о жизни, которую ты прожил, счастливой жизни, прекрасной, и дать всему этому от тебя утечь, правда?

— Что верно, то верно,— поддакнул я.

Нэнси сразу же все на корабле изменила. Переставила клетку с хомяками на другое место. Поменяла в салоне украшения. Проверила записи в бортовом журнале. Работа, казалось Гордону Грину, шла продуктивнее чем когда-либо до этого.

Но не это было главное, а замечательный домашний очаг, который они создавали для себя. В корабле пахло только что испеченным хлебом и пахло свежестью, а иногда он слышал, как идет дождь, хотя ближайший дождь мог идти лишь в миллиарде шестистах миллионах миль от корабля и лишь холодное безмолвие царапало снаружи холодный металл обшивки.

Очень скоро они привыкли друг к другу.

Были вещи, нарушить которые он не мог,— такое он получил воспитание.

И наступило время, когда Гордон Грин сказал:

— Я не могу просто так взять и овладеть тобой, дорогая. Это было бы нехорошо даже здесь, в космосе, и нехорошо, даже если ты ненастоящая. Для меня ты все равно настоящая. Ты согласна, чтобы мы обвенчались, как полагается, по молитвеннику?

Глаза ее засияли, а губы сверкнули улыбкой, которой улыбалась только она. Нэнси ответила:

— Конечно.

Она обняла его и повисла у него на шее. Он провел пальцами по ее плечу. Ощутил ее ребра. Ощутил у себя на щеках пряди ее волос. Все было настоящим. Более настоящего не могло быть — и какой-то дурак сказал, будто это действует вирус, будто Нэнси не существует! Кто она, подумал он, если она не Нэнси?

Он осторожно поставил ее на пол и, словно вновь родив-

шийся, переполненный любовью и счастьем, стал читать вслух из молитвенника. Попросил, чтобы она отвечала на вопросы, какие полагаются в таких случаях. Сказал:

— Считаю, что я капитан, и считаю, что я сочетал нас, тебя и себя, законным браком — да, Нэнси?

Брак оказался удачным. Корабль летел по огромной, похожей на орбиту кометы кривой. Ушел далеко-далеко. Так далеко, что Солнце превратилось в еле различимую точку. Гравитация солнечной системы практически перестала влиять на показания приборов.

Как-то Нэнси подошла к нему и сказала:

— Я думаю, ты знаешь, почему не выдержал, поддался слабости.

— Нет, не знаю,— ответил он.

Она серьезно посмотрела на него. Потом заговорила снова:

— Я думаю твоим разумом. Я живу в твоём теле. Если ты умрешь, я умру тоже. Но пока ты здесь, на корабле, и ты жив, буду жива и я и буду существовать от тебя отдельно. Странно, правда?

— Да, странно,— согласился он и почувствовал, как в сердце заново поднимается старая боль.

— И однако, я кое-что тебе скажу — что я скажу, известно той части твоего разума, которой я пользуюсь. Я знаю, что существую. Я сознаю, как высока твоя техническая подготовка, и даже ее чувствую, хотя не испытываю страданий оттого, что ее у меня нет. Образование у меня такое, какое, по-твоему, у меня должно было бы быть, какое ты хотел бы у меня видеть. Но задумывался ты или нет над тем, что сейчас происходит? Наш, твой и мой, мозг работает сейчас почти в пять раз напряженной обычного. Все силы твоего воображения заняты только тем, что непрерывно создают меня. Все твои мысли — только обо мне. Они мне нужны, и мне нужно, чтобы ты любил меня, но не остается ни одной мысли на случай аварии, и ни одной — для Космической Службы. Делаешь ты самый минимум. Стою ли этого я?

— Конечно, стбишь, дорогая. В тебе есть все, чего мужчина ждет от любимой, и от самой любви, и от жены, и от настоящего друга.

— Но как ты не понимаешь? Я забираю от тебя все лучшее. Ты это вкладываешь в меня, а когда корабль вернется на Землю, я исчезну.

Каким-то странным образом, но он понимал, что на него действует «сокта». Он смотрел на милую Нэнси, на ее блестящие, ухоженные волосы и вдруг осознавал, что она никогда их не причесывает,— и ему становилось ясно, что с ним происходит. Смотрел, как она одета, и вдруг осознавал, что для такого количества платьев на корабле не хватило бы места. И однако, она продолжала их менять, прекрасные, чарующие, необыкновенные, день за днем. Он ел пищу, которой, он знал, на корабле не могло быть. Но ни то, ни другое, ни третья тревоги в нем не вызывало.

Сейчас он запустил пальцы в ее волосы. Сказал:

— Я знаю, дорогая, я спятил, и знаю, что ты не существуешь...

— Да нет же, я существую. Я — это ты. Я — часть Гордона Грина, это так же точно, как то, что я вышла за тебя замуж. Ты вернешься на Землю, любимый, а я вернусь в глубины твоего сознания и там буду жить, пока живешь ты. Ты не можешь потерять меня, а я не могу с тобой расстаться, и ты не можешь забыть меня. Убежать к другому я могу только через твои губы. Вот почему это так странно. Вот почему люди об этом столько говорят.

— Я люблю тебя,— сказал Гордон Грин,— хотя знаю, что ты призрак, и знаю, что ты скоро исчезнешь и все для нас кончится. Но я счастлив уже оттого, что сейчас ты со мной. Меня не тянет к спиртному. Я не притронулся бы к наркотикам. И однако, я счастлив.

Каждый день оба занимались обычными делами. Проверяли по звездной карте маршрут, записывали результаты наблюдений, продиктовали несколько глупых замечаний в бортовой журнал. Покончив с делами, на большом огне в красивом камине, которого не было, поджаривали зефир. Пламя в камине обжигать не могло, но их обжигало. Зефира на корабле не было, но все равно они его поджаривали и с наслаждением ели.

Так проходила их жизнь, полная волшебства, и волшебство это не раздражало, не ранило и не вызывало чувства безнадежности, не вызывало отчаяния.

Они были очень счастливой парой.

Даже хомяки это чувствовали. Хомяки оставались опрятными и упитанными. Охотно съедали свой корм. Излечились

от морской болезни. Часто и подолгу смотрели на Гордона Грина.

Одного из хомячков, того, у которого нос был коричневый, он выпустил из клетки, чтобы тот мог побегать по салону. Грин сказал ему:

— Боевой ты, ничего не скажешь. Будто родился для космоса, бедняга, вот и отбываешь здесь службу.

Еще только раз Нэнси заговорила об их будущем. Она сказала:

— Наверное, ты понимаешь, что у нас не может быть детей. Этого «сокта» не допускает. То есть вообще детей иметь ты можешь, но это будет довольно-таки странно: ты на ком-то женишься, а где-то на заднем плане всегда буду я. Буду обязательно.

Они вернулись на Землю. Добрались.

Суровый и усталый полковник медицинской службы посмотрел на него пристально и сказал:

— Так мы и думали.

— А что вы думали, сэр? — спросил располневший и сияющий лейтенант Грин.

— У вас Нэнси, — ответил ему полковник.

— Да, сэр. Сейчас я ее приведу.

— Приведите, — буркнул полковник.

Грин вернулся в корабль и стал звать и искать Нэнси. Ее нигде не оказалось. Озадаченный, он возвратился к полковнику. Расстроен он все равно не был. Он сказал:

— Я ее не нашел, но уверен, что она где-то здесь.

Полковник улыбнулся странной, сочувственной, усталой улыбкой.

— Она всегда будет где-то здесь, лейтенант. Необходимый минимум работы вы выполнили. Не знаю, следует или нет нам отговаривать людей вашего склада от полетов в дальний космос. Я думаю, вы понимаете, что как бы застыли в вашем теперешнем состоянии. Вас наградят знаком «Задание выполнил». Выполнили его вы успешно — побывали дальше, чем кто-либо до вас. Кстати, Вондерлейен говорит, что вас знает, и сказал, что будет ждать вас у выхода. На всякий случай, чтобы не наступило шоковое состояние, мы положим вас в госпиталь.

— Никакого шокового состояния,— сказал мой двоюродный брат,— в госпитале у меня не было.

Он даже не скучал по Нэнси. Как мог он по ней скучать, если она от него не ушла? Ведь он знал, что она где-то рядом — за углом, за дверью, а если не там, то все равно где-то совсем близко.

За завтраком он знал, что она появится к обеду. За обедом — что она будет во второй половине дня. К концу дня он знал, что с ней поужинает.

Он знал, что безумен. Что безумнее быть нельзя.

Он прекрасно знал, что Нэнси нет и никогда не было. Понимал, что вообще-то должен бы ненавидеть вирус «сокта» за то, что тот с ним сделал, однако вирус этот сам облегчал им же вызванные страдания.

Использование этого средства несло человеку способность вечно надеяться, обещало, что нечто пребудет с ним всегда, а обещание, что нечто пребудет с тобой всегда, часто лучше прекрасной действительности, которая пребудет с тобой лишь временно.

Вот и вся история. Когда лейтенанта Грина попросили выступить против использования этого средства, он сказал:

— Кто, я? Чтобы я отказался от Нэнси? Не говорите глупостей.

— Ведь на самом деле ее все равно нет,— заметил кто-то.

— Вы так думаете? — сказал мой двоюродный брат, лейтенант Грин.

Содержание

- 5 *Е. Ванслова. Научно-фантастические миры и мир реальный.*
- 8 Урсула Ле Гуин. Те, кто уходит из Омеласа. *Перевод Р. Рыбкина*
- 16 Джером Биксби. Мы живем хорошо! *Перевод С. Бережкова*
- 36 Альфред Бестер. Перепутанные провода. *Перевод Е. Коротковой*
- 48 Рэй Брэдбери. Мессия. *Перевод Р. Рыбкина*
- 60 Мюррей Лейнстер. Из четвертого измерения. *Перевод Ф. Мендельсона*
- 76 Сирил Корнблат. Полночный алтарь. *Перевод В. Ковалевского*
- 84 Айзек Азимов. Лучший друг. *Перевод Р. Рыбкина*
- 88 Пол Андерсон. Задержка в развитии. *Перевод В. Вебера*
- 100 Джеймс Блиш. Произведение искусства. *Перевод Р. Рыбкина*
- 119 Альфред Ван Вогт. Банка с краской. *Перевод Ф. Мендельсона*
- 134 Гордон Р. Диксон. Повелитель. *Перевод М. Гилинского*
- 157 Роберт Шекли. Чудовища. *Перевод М. Загота*
- 168 Кордвейнер Смит. Нэнси. *Перевод Р. Рыбкина*

Т 11 Те, кто уходит из Омеласа: Рассказы/Пер. с англ. Сост. Ростислава Рыбкина. Предисл. Е. Вансловой.— М.: Известия, 1990.— 192с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

Сборник представляет собой панораму научной фантастики США. Рассказы, разнообразные по манере письма, связаны между собой в основном социальной и гуманистической проблематикой, волнующей современное общество.

Т $\frac{4703000000-002}{074(02)-90}$ 63-90

**ББК 84.7 США
И (Амер)**

ТЕ, КТО УХОДИТ ИЗ ОМЕЛАСА

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *И. Клыкова*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 1413

Сдано в набор 6.04.89. Подписано в печать 18.12.89. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Тип Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,8. Усл. кр.-отт. 8,1. Уч.-изд. л. 9,63. Тираж 50 000 экз. Зак. № 461. Цена 1 р.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат В/О «Союзэкспорткнига» при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли.

143200, Можайск, ул. Мира, 93

**В Библиотеке журнала
«Иностранная литература» вышли в свет:**

- | | |
|--|--|
| 1 Герман Кант (ГДР)
«Объяснимое чудо» | 10 Яшар Кемаль (Турция)
«Легенда Горы» |
| 2 Ясуси Иноуэ (Япония)
«Три новеллы» | 11 Джон Чивер (США)
«Еще одна житейская
история» |
| 3 Леонардо Шаша
(Италия)
«Палермские убийцы» | 12 Сьюзен Хилл
(Великобритания)
«Самервил» |
| 4 Надин Гордимер (ЮАР)
«Дом Инкаламу» | 13 Тонино Гуэрра
(Италия)
«Стая птиц» |
| 5 Хоакин Сантана (Куба)
«Воспоминания
об улице Магнолии» | 14 Эржебет Галгоци
(Венгрия)
«Вдова села» |
| 6 Вити Ихимаэра
(Новая Зеландия)
«В поисках Изумрудного
города» | 15 Сид Чаплин
(Великобритания)
«Тонкий шов» |
| 7 Арман Лану (Франция)
«Песочные замки» | 16 Джеймс Джойс
(Ирландия)
«Дублинцы» |
| 8 Иоахим Новотный (ГДР)
«Новость» | 17 Фарли Моуэт
(Канада)
«Вперед, мой брат,
вперед!» |
| 9 Рэй Брэдбери (США)
«В дни вечной весны» | |

- 18 Юхан Борген
(Норвегия)
«Декабрьское солнце»
- 19 Энгус Уилсон
(Великобритания)
«Что едят бегемоты»
- 20 Натали Саррот
(Франция)
«Вы слышите их?»
- 21 Радослав Михайлов
(Болгария)
«Властители земли»
- 22 Армандо Роблес Годой
(Перу)
«В сельве нет звезд»
- 23 Вильям Сассин
(Гвинея)
«Вирьяму»
- 24 Йозеф Пушкаш
(Чехословакия)
«Приятные
разочарования»
- 25 Яхья Яхлюф
(Палестина)
«Наджран в час
испытаний»
- 26 Костас Варналис
(Греция)
«Дневник Пенелопы»
- 27 Хуан Карлос Онетти
(Уругвай)
«Лицо несчастья»
- 28 Элио Витторини
(Италия)
«Сицилийские беседы»
- 29 Сётаро Ясуока (Япония)
«Морской пейзаж»
- 30 Франсуа Мориак
(Франция)
«Агнец»
- 31 Меджа Мванги (Кения)
«Жертва
для гончих псов»
- 32 Ярослав Гашек
(Чехословакия)
«Талантливый человек»
- 33 Мария Луиза Кашниц
(ФРГ)
«Длинные тени»
- 34 «Валлийский рассказ»
- 35 Мигель Делибес
(Испания)
«Опальный принц»
- 36 Алан Маршалл
(Австралия)
«Пищу о тех,
кого люблю»

- | | |
|--|---|
| 37 Михаил Садовяну
(Румыния)
«Чекан» | 47 Иштван Эркень
(Венгрия)
«Путь к гротеску» |
| 38 Вейо Мери
(Финляндия)
«Обед за один доллар» | 48 Луи Арагон
(Франция)
«Римские свидания» |
| 39 Хулио Кортасар
(Аргентина)
«Непрерывность парков» | 49 Хорхе Луис Борхес
(Аргентина)
«Юг» |
| 40 Гопинатх Моханти,
Кришна Собти
(Индия)
«Чертова Митро» | 50 Джеймс Планкетт
(Ирландия)
«Паутина» |
| 41 Юлиан Кавалец
(Польша)
«Свадебный марш» | 51 Видиа С. Найпол
(Тринидад)
«Улица Мигель» |
| 42 Душан Калич
(Югославия)
«Вкус пепла» | 52 «Ветер с моря»
(Чилийская литература)
Сопrotивления) |
| 43 Густаво Эгурен (Куба)
«Окно на лужайку» | 53 Эрве Базен (Франция)
«Во что я верю» |
| 44 Элизабет Боуэн
(Великобритания)
«Плющ оплел ступени» | 54 Джон Гарднер (США)
«Искусство жить» |
| 45 «Современная
китайская проза» | 55 Ясунари Кавабата
(Япония)
«Старая столица» |
| 46 Александр Карасимеонов
(Болгария)
«Двойная игра» | 56 «Скальпель Оккама»
(Сборник зарубежной
фантастики) |


- 57 Юрий Брезан (ГДР)
«Черная мельница»
- 58 Дэвид Герберт Лоуренс
(Великобритания)
«Дочь лошаdnика»
- 59 Жан-Марк Робер
(Франция)
«Чужие дела»
- 60 Винцент Шикла
(Чехословакия)
«Солдат»
- 61 Питер Устинов
(Великобритания)
«День состоит
из 43 200 секунд»
- 62 Дино Буццати
(Италия)
«Семь гонцов»
- 63 Жан Кокто (Франция)
«Портреты-
воспоминания»
- 64 Фрэнсис Кинг
(Великобритания)
«Дом»
- 65 Эдуардо Галеано
(Уругвай)
«Дни и ночи
любви и войны»
- 66 Кэтрин Энн Портер
(США)
«Полуденное вино»
- 67 Али Окля Орсан
(Сирия)
«Голанские высоты»
- 68 Зигфрид Ленц
(ФРГ)
«Запах мирабели»
- 69 Кобо Абэ
(Япония)
«Тайное свидание»
- 70 Доржийн Гарма
(Монголия)
«Первые шаги»
- 71 Хорхе Ибаргуэнгойтия
(Мексика)
«Убейте льва»
- 72 Ральф Эллисон
(США)
«Король американского
лото»
- 73 Мигель Анхель
Астуриас
(Гватемала)
«Зеркало Лиды Саль»
- 74 «Канадская новелла»

- 75 Герман Гессе
(Швейцария)
«Последнее лето
Клингзора»
- 76 Джузеппе Понтиджа
(Италия)
«Луч тени»
- 77 Эйвинд Юнсон
(Швеция)
«Зимняя игра»
- 78 Ежи Эдигей
(Польша)
«Идея в семь
миллионов»
- 79 Патрик Уайт
(Австралия)
«Женская рука»
- 80 Вирджиния Вулф
(Великобритания)
«Флаш»
- 81 Пх. Рену (Индия)
«Заведение»
- 82 Уильям Тревор
(Великобритания)
«За чертой»
- 83 Шон О'Фаолейн
(Ирландия)
«Безумие в летнюю ночь»
- 84 Элисео Диего
(Куба)
«Дивертисменты»
- 85 Иштван Сабо
(Венгрия)
«То памятное утро»
- 86 Элис Уокер
(США)
«Красные петунии»
- 87 Уильям Сароян
(США)
«Случайные встречи»
- 88 «Бельгийская новелла»
- 89 Ник Хоакин
(Филиппины)
«Пещера и тени»
- 90 Лижиа Ф. Теллес
(Бразилия)
«Рука на плече»
- 91 Дж. К. Оутс
(США)
«Венец славы»
- 92 Джон Кольер
(Великобритания)
«Карты правду говорят»
- 93 Анна Зегерс
(ГДР)
«Неизвестные страницы»

- 94 Эрвин Лазар (Венгрия)
«Фокусник»
- 95 «Дорога к замку»
(Современная японская
новелла)
- 96 Патрик Модино
(Франция)
«Улица Темных Лавок»
- 97 Ханс Кристиан Браннер
(Дания)
«Корабль»
- 98 Адольфо Бьой Касарес
(Аргентина)
«Теневая сторона»
- 99 Жильбер Сесброн
(Франция)
«Елисейские поля»
- 100 Виктор С. Притчетт
(Великобритания)
«Фантазеры»
- 101 Томмазо Ландольфи
(Италия)
«Солнечный удар»
- 102 «Ганская новелла»
- 103 Эдна О'Брайен
(Ирландия)
«Возвращение»
- 104 Раймонд Карвер
(США)
«Собор»
- 105 «Первый дождь»
(Стихи и рассказы
никарагуанских
писателей)
- 106 Томас Вулф
(США)
«Портрет Баскома
Хока»
- 107 Антон Дончев
(Болгария)
«Юность хана
Аспаруха»
- 108 Бапси Сидхва
(Пакистан)
«Огнепоклонники»
- 109 Франц Кафка
(Австрия)
«Из дневников.
Письмо отцу»
- 110 Райнер Мария
Рильке
(Австрия)
«Записки Мальте
Лауридса Бригге»

- | | |
|---|--|
| 111 Веркор (Франция)
«Плот Медузы» | 120 Стивен Винсент Бене
(США)
«За зубом
к Полю Ревирю» |
| 112 Эмиль Ажар (Франция)
«Жизнь впереди» | 121 Мануэль Пуиг
(Аргентина)
«Предательство
Риты Хейворт» |
| 113 Луиш де Стау Монтейро
(Португалия)
«А на ужин — тоска» | 122 Сэмюэль Беккет
(Ирландия)
«Изгнанник» |
| 114 Ингмар Бергман
(Швеция)
«Осенняя соната» | 123 Хорхе Семпрун
(Франция)
«Долгий путь» |
| 115 «Дело рук компьютера»
(Сборник научно-
фантастических
рассказов) | 124 Урсула Ле Гуин
(США)
«Порог» |
| 116 Иржи Марек
(Чехословакия)
«Тристан, или
О любви» | 125 Кристоф Хайн
(ГДР)
«Смерть Хорна» |
| 117 Збигнев Бжозовский
(Польша)
«Баллада о Чертике» | 126 Станислав Игнацы
Виткевич
(Польша)
«Сапожники» |
| 118 Артуро Услар Пьетри
(Венесуэла)
«Дождь» | 127 Гилберт Кийт
Честертон
(Великобритания)
«Человек, который
был Четвергом» |
| 119 «Встреча»
(Из современной
румынской прозы) | |

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| 128 | Бьёрг Вик
(Норвегия)
«Недостовверные
данные о счастье» | 133 | Владимир Набоков
(США)
«Лолита» |
| 129 | Эдогава Рампо
(Япония)
«Психологический тест» | 134 | Чжан Синьсинь,
Сан Е (Китай)
«Голоса из Китая» |
| 130 | Антун Шолян
(Югославия)
«Гавань» | 135 | Марио Варгас Льоса
(Перу)
«Кто убил Паломино
Молеро?» |
| 131 | Юдора Уэлти (США)
«Золотой дождь» | 136 | Джордж Оруэлл
(Великобритания)
«Скотный Двор» |
| 132 | Ангелика Мехтель (ФРГ)
«Но в снах своих
ты размышлял» | | |



В сборник вошли рассказы мастеров американской фантастики: Рея Брэдбери, Роберта Шекли, Айзека Азимова, Урсулы Ле Гуин, Альфреда Ван Вогта, Пола Андерсона и других. В нем представлены всевозможные сюжеты и темы современной научной фантастики; речь идет о контактах с инопланетными цивилизациями, о фантастических изобретениях, парадоксах пространства и времени, однако главная тема, объединяющая сборник, — тема человека, социально-философские и нравственные проблемы бытия.

